

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



ТАБЛИЦА АГЕЕВА

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У Петра Дмитриевича Агеева вдруг начинали дрожать руки. Это вынуждало его откладывать ложку, ставить поднятую рюмку, воздерживаться от рукопожатий. Дрожание рук было следствием контузии, которую Пётр Дмитриевич получил в Афганистане, управляя боевой машиной разминирования. В Герате, в районе Деванча, машина села на фугас, взрыв подбросил железный короб и оглушил экипаж. Они с напарником сидели среди едкого дыма, залитые кровью, которая хлестала из горла, ушей и ноздрей.

Пётр Дмитриевич был из профессорской семьи, родился в Москве, жил на улице Горького в сталинском доме, увешенном мемориальными досками с именами актёров, конструкторов и полководцев. Из окон был виден памятник Пушкину, две кремлёвские звезды и великолепный перекрёсток улицы Горького с Бульварным кольцом. Пушкинскую площадь полосовали крест-накрест пылающие потоки машин, и он зачарованно смотрел на этот волшебный огненный крест.

Тверской бульвар, то весенний, изумрудный, то зимний, с чёрной графической деревьев на белом снегу, был местом его детских гуляний и юношеских свиданий.

Отец и мать преподавали историю в университете. Дома стоял застеклённый шкаф, в котором хранилась библиотека деда и прадеда, множество

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов "Чеченский блюз", "Красно-коричневый", "Идущие в ночи", "Господин Гексоген", "Крейсерова соната", "Человек звезды", "Время золотое", "Убийство городов", "Губернатор", "Гость". Живет в Москве.

удивительных книг. Ещё не умея читать, он перелистывал эти книги, пахнувшие старым клеем, как пахнет горький миндаль.

Когда он болел, мама приносила ему в кровать тяжёлые тома “Истории культуры”, и он рассматривал египетские храмы, испещрённые иероглифами, гробницы ацтеков с коричневыми мумиями, из которых выглядывали кости, а кругом стояли глиняные сосуды, каменные божки и светильники. Вечером, когда поднимался жар, в горячих сумерках летали над ним египетские иероглифы, похожие на таинственных насекомых, и маслянисто горели у потолка глиняные светильники.

Позже, школьником, он перечитал подшивки журналов “Аполлон” и “Весы” с певучими стихами неведомых поэтов, с изысканными статьями неизвестных философов, с сиреневыми садами Борисова-Мусатова, с пленительными дамами Бенуа. Этот книжный шкаф со звоном стеклянных створок казался забытым домом, в котором притаились молчаливые обитатели, дожидаясь времени, когда выйдут на свободу.

Прощальный школьный бал запомнился девушками в белоснежных платьях, зарёй на Москве-реке, серебряными чайками, скамейкой в сквере, где он впервые поцеловал мягкие девичьи губы, получил в подарок голубые стеклянные бусы. Девушка обещала прийти на свиданье в этот сквер, на эту скамейку. Не пришла. Он больше её не встречал. От синих бус остался стеклянный шарик, а потом и тот куда-то бесследно закатился.

Он готовился поступать в университет на исторический факультет, надеясь при поступлении получить поддержку отца-профессора. За несколько дней до экзаменов отец и мать погибли в авиационной катастрофе. Их самолёт разбился, когда возвращался из Сочи. Много лет спустя он всё представлял, как мать и отец в последние секунды, взявшись за руки, падали к земле.

Смерть матери и отца была сокрушительной, словно чья-то свирепая лапа вырвала клочок жизни, оставив рваную пустоту.

Он подходил к платяному шкафу, прижимался лицом к материнскому платью, вдыхая тонкий вянувший запах духов. Разглаживал отцовский пиджак, сохранивший запах вкусного табачного дыма. Надевал на себя галстук отца, в котором тот уходил в университет читать лекции, и лежал в этом галстучке недвижно, с глазами, полными слёз.

Он не пошёл на экзамен и осенью был призван в армию. Равдовался тому, что внешняя строгая воля подчинила себе его безвольную жизнь, увела из дома, где всё напоминало любимых, причиняло нестерпимую боль.

Его отправили в учебный лагерь в казахстанских предгорьях. Загорелые грубоватые офицеры и сержанты учили стрелять из автомата, бегать по горам, водить неуклюжую, на гусеницах, боевую машину разминирования с тралом. Гроздья тяжеловесных катков утюжили землю, прокладывая проходы в минных полях.

Через два месяца самолёт опустил его в горячей степи Шиндандского гарнизона. Лёжа на железной койке в брезентовой палатке среди спящих солдат, он вдруг ярко, обморочно вспоминал входящую с мороза маму, её меховой воротник с тающим снегом, её лицо божественной красоты.

Он был командиром машины, а его подчинённым, механиком, толкавшим рычаги управления, был солдат. Его звали Фаддеем, фамилия — Лоб, чернявый, вёрткий, с глазами цвета чёрной смородины, в которых вдруг появлялся металлический медный отблеск. Он верил в пришельцев, считал себя одним из них. Любил смотреть в ночное небо, указывал среди сверкающих звёзд ту, с которой явился на землю. Среди дневного пекла машина раскалялась так, что прикосновение к броне вызывало ожоги. Они с Фаддеем размачивали в воде чёрствый хлеб, лепили к броне мякиши и ели горячие душистые лепёшки.

Вечерами, в сумерках, когда наступала прохлада, солдаты покидали БТРы и танки, сходились вместе в открытой степи. Рыли в земле лунки, наливали солярку и грели на огне банки с консервами. В ночи горело множество светильников, озаряя солдатские лица. Казалось, теплились лампы, и над ними склонились молитвенники, словно шло таинственное богослужение среди военных колонн, нацеленных в завтрашний бой.

Дивизия выдвигалась к Герату, тяжело переваливалась фургонами, тягачами, танками. Разместилась в пригороде, словно улёгся многолапый железный зверь. Устремились к пылающему небу чаши антенн. Нацелились на Герат стволы самоходных гаубиц и трубы “Ураганов”.

Город туманился в горчичной пыли, как мираж, с проблесками изразцовых мечетей. Взрехали “Ураганы”, посылая в Герат плазменные вихри. Город глотал снаряды, которые исчезали бесследно в горчичной пыли. Неохотно, лениво над городом начинали возрастать чёрные клубы дыма, вяло тянулись в небо, как одноногие великаны, танцующие медленный танец.

Бронеколонна входила в мятежный район Деванча. Боевые машины пехоты развернули пушки в разные стороны, втягиваясь в узкие улицы, и долбили из орудий по глинобитным домам и дувалам.

Он сидел в машине разминирования. Видел, как Фаддей ворочает рычагами, направляет машину в узкий прогал. Сквозь смотровые щели виднелись глинобитные стены с бойницами. Проплыла синяя луковка мечети, крашенные зелёные ворота. Трал с катками, как борона, качался перед носом машины.

Первый взрыв оторвал у трала каток. Удар прокатился по броне, и Фаддей отпустил рычаги. Машина, потеряв управление, боднула тралом гончарную стену, прочертила в ней борозду. Второй взрыв рванул под днищем, подбросил машину.

Спустя много лет Пётр Дмитриевич продолжал ощущать тот железный удар, расколовший голову, разломавший рассудок. Летела синяя луковка мечети, разбилась в щепы зелёные ворота. В голове открылся провал, из которого дул железный горячий ветер. Он и Фаддей сидели, залитые кровью. Из ноздрей Фаддея выдувался красный пузырь, блестели на губах выбитые розовые зубы.

В медсанбате его трясло. Он мычал. Рядом с ним мычал и сотрясался Фаддей. Всё указывал рукой в потолок, словно взывал к звёздам, хотел улететь на свою космическую прародину. Санитарный самолёт унёс их в Москву, где они расстались, обменялись адресами, но ни разу не написали друг другу.

После контузии дрожали руки и сохранился страх к земле, по которой осторожно ступал, боясь, что в тротуары и дорожки Тверского бульвара вживлены фугасы и мины.

В военкомате решили, что он может продолжить службу. Но теперь не в Афганистане, а на Байконуре, на космодроме, где ему дали тягач, и он перевозил тяжеловесные грузы.

Казахстанская степь цвела весенними маками, струилась серебристыми травами, топорщилась осенними колючками. Из этих маков, трав и колючек взлетали ракеты. Вдруг начинало угрюмо гудеть. Степь озарялась вespышкой. Появлялся белый бушующий шар. Жаркий факел выносил ракету. Она взмывала, оставляя в облаках туманную прорубь. Небо начинало играть. Летали радуги, горели перламутровые сполохи.

Он останавливал тягач и смотрел с восхищением, как зарастает небесная прорубь, вслушивался в замирающий гул.

Пётр Дмитриевич был благодарен судьбе за то, что стал свидетелем чуда. Гигантская ракета “Энергия”, подобная слепящему взрыву, ушла в небеса, унося с собой волшебную бабочку прильнувшего к ней “Бурана”. Казаюсь, над степью зажглась огромная люстра. Крылатое диво в буре огня вознеслось на небо, оповещая громогласным рёвом начало фантастических времён, о которых мечтали люди.

В тишине после взлёта ракеты всё замерло, чутко прислушивалось, бессловесно молилось. Ожидало, когда с неба вернётся гонец, принесёт долгожданную весть.

Дул ледяной ветер. По степи летели бесчисленные перекасти-поле, комья колючек. Казалось, мчатся бесчисленные духи, стараясь покинуть землю перед тем, как явится посланец небес. Возвестит о начале новых времён.

Пётр Дмитриевич помнил, как стоял у своего тягача среди летящих колючих ворохов и, не зная ни единой молитвы, молился. Увидел, как над

степью возникло небесное тело, ослепительное, будто серебряный слиток. “Буран”, покидая космос, приближался к земле. За ним следовали два истребителя, приветствуя космического собрата. “Буран” коснулся бетона, полыхнул синим дымом. Два тормозных парашюта бурлили, рвались, гасили бег челнока. Казалось, в парашютах ещё бушует Космос, не желает отпускать восхитительную белую птицу.

Там же, на Байконуре, он видел, как маститые академики, генералы, конструкторы обнимали, поздравляли высокого человека с восхищённым лицом, на котором сияли чудесным светом глаза, словно они увидели неземное диво. Это был министр Богданов, душа космического проекта “Энергия” — “Буран”. Его сияющие космические глаза.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Отслужив в армии, он вернулся в Москву, в свою родную квартиру на Пушкинской. В ней ничего не изменилось. Всё тот же чудесный книжный шкаф с запахом миндаля. Тот же комод с материнскими платьями и отцовскими костюмами, от которых едва уловимо пахло духами и табаком. Кресло-качалка, в которое можно сесть и сладко, с закрытыми глазами, качаться, слыша, как в соседней комнате смеются мать и отец.

В доме было всё то же. Но снаружи, на улицах, бурлила незнакомая страстная жизнь. Под окнами в сквере с утра собирался народ. Кричали, вскакивали на парапет, размахивали кулаками. Человек с благовидной бородкой, в русской косоворотке, выкрикивал в мегафон:

— Товарищи евреи, большая к вам просьба! Собирайте чемоданы и, пожалуйста, уезжайте в Израиль!

Его сторонники яростно восклицали:

— Чемодан, вагон, Израиль!

Тут же проходил другой митинг. Полная женщина, грассируя, гудела в мегафон:

— Русские фашисты, предупреждаю, вас ждёт Нюрнбергский процесс! Помните судьбу Гимmlера и Риббентропа!

Её поддерживали криками:

— Фашизм не пройдёт! Долой коммуно-фашистов!

По улице Горького шли демонстрации. Плотные взвинченные колонны рвались к Красной площади. Их встречали внутренние войска с дубинками и щитами. Обе силы сталкивались на перекрёстке. Грохотали щиты, взлетали дубинки. Визжало, ревели, стеноло. Он смотрел с тротуара, как бежит молодая женщина с окровавленным лицом, как ковыляет старик, и солдат в каске догоняет его и бьёт дубинкой.

Он не понимал смысла этих столкновений. Не запоминал имена вождей. Не знал, к кому примкнуть. Ему казалось, что осыпается огромная, казавшаяся неподвижной гора. Из неё выпадают камни, осыпаются склоны, сходит оползень.

Он свыкался с этой неутрахающей бурей. Ее волны исходили от необычных людей, с которыми он ненадолго сходил, жадно внимал их проповедям. Но рядом с прежним появлялся новый проповедник, и его проповеди казались ещё привлекательней.

Седовласый философ с восторженными глазами волхва делил всех людей на “властителей” и “гармонителей”. Первые, подобно Сталину, были насильники и разрушители, проливали моря крови. Вторые, подобно Горбачёву, исцеляли раны, возвращали, как садоводы, а не рубили, как лесорубы.

Был страстный аналитик, полагавший, что Советский Союз следует раздробить на восемьдесят частей и каждую отдельно встраивать в европейскую цивилизацию, тем самым наполняя содержанием формулу: “Европа — наш общий дом”.

Измощённый писатель, хлебнувший горя в сталинских лагерях, хотел, чтобы каждый конвоир и надзиратель, каждый чекист и член трибунала посадил яблоню, и, когда дерево покроется цветами, они будут прощены.

Другой писатель, напротив, требовал выявить всех, кто был причастен к репрессиям, чтобы их всенародно судить, объявив коммунистическую партию и госбезопасность преступными организациями.

Кто-то предлагал все ракеты и танки свалить в единую гору, вбить в эту гору огромный железный кол и назвать это сооружение “Горой мира”.

Известный историк предлагал переименовать Россию в Московию. Другой историк полагал, что казаки и поморы — не русские, а совсем особый народ. Третий считал, что Ленина следует извлечь из мавзолея, отправить в стеклянном гробу в круиз по континентам, выставлять в мировых столицах, но брать за это деньги, пополняя оскудевший бюджет.

Пётр Дмитриевич вспоминал это время, как время колдовства. В околдованных людях просыпались притаившиеся сущности, и люди начинали летать. Раз в году из муравейника появляются крылатые муравьи, выются поблескивающим роем, а их быют на лету пучеглазые голубые стрекозы.

Потом появились танки. Они катили по улице Горького, грызли асфальт, окутанные синей гарью. Стекла дрожали. Танки угрюмо качали стволами. Один танк попятился кормой, встал у памятника Пушкину, направил орудие на перекрёсток.

Тогда же по телевизору он слушал заявление первых лиц государства о создании Комитета, который брал на себя управление страной. Среди членов Комитета он узнал Богданова, создателя “Энергии” — “Бурана”.

Улицы вмиг опустели. Так холодный ветер сдувает комаров-толкунов.

Он смотрел на танки, вспоминая бронекolonны на афганских дорогах, и ему казалось, что война докатилась теперь до Москвы.

Однако с полудня люди снова появились на улицах. Опасливо обходили танки. Осторожно к ним приближались. Здоровались с танкистами. Выносили из домов бутерброды, кофе в термосах, бутылки с водкой. Появились девушки, ярко накрашенные, смешливые. Одна поцеловала танк, оставив на броне отпечаток помады. Другая залезла на броню и обнималась с танкистами, и её утянули в люк, в глубь танка. На броню бросали цветы. Танки стояли в ворохах цветов, притихшие. Из жерла пушек торчали букетики гвоздик.

А потом танки ушли, и на телеэкране вместо аметистовых балерин и неловких, с дрожащими руками политиков появились бурлящие толпы. Колонна, возглавляемая Ельциным, шла по проспекту. Несли перед собой огромное трёхцветное полотнище, как рыбаки несут бредень. Улавливали в этот бредень всё новые и новые толпы. Вся Москва, как пойманная рыба, колыхалась в трёхцветном бредне.

Ночью он спускался по улице Горького к Кремлю, видя под ногами изрезанный гусеницами асфальт. Было людно, как во время гуляний. Незнакомые люди подходили к нему, обнимали, восклицали: “Свобода! Свобода!” Было много трёхцветных флагов, цветов. На дощатой эстраде стоял музыкант с чёрной остроконечной бородкой, с вихрами, похожими на козлиные рожки, и играл на саксофоне. Инструмент извивался в его руках, как серебряная змея.

Казалось, что дует горячий втер, могучий сквозняк. Выдувая из города воздух, уносит с земли атмосферу. Город задыхался, здания иссыхали, становились плоскими, шелушились. С них опадала чешуя.

На Лубянской площади здание КГБ жутко чернело окнами. В свете прожектора, среди кричащей толпы, качался в железной петле памятник Держинскому. Люди обращали вверх счастливые лица, глядя на бронзового висельника.

На Старой площади, у здания ЦК, толпились люди. Чернявый вёрткий парень в джинсах и замызанной майке с изображением американского флага залез по стремянке и долотом сбивал с фасада надпись: “Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза”. Золотые буквы отскакивали от стены, со звоном падали на асфальт. Люди с хохотом их подбирали. Золочёная буква “М” упала ему под ноги. Он поднял её и держал.

— Петруха, ты, что ли? С нами? Отлично! — парень с долотом окликнул его. Это был Фаддей Лоб. Спустился по лестнице. Обнялись.

— Мы, пришельцы, установим космический порядок! Пойдём со мной в Белый дом! Там выступает Ельцин!

Фаддея закрутили другие люди, куда-то утащили. А он остался один, держа в руке букву “М”.

На улицах и площадях дул сквозняк. Незримые духи покидали Москву, уносились туда, откуда когда-то явились.

Что запомнилось Петру Дмитриевичу из последующих лет? События напоминали пластилин, сплипались. Из лишнего месива полыхал огонь, летели пули, лилась кровь. Кто-то постоянно кричал, звал, проклинал, умолял.

В доме, где он жил, обитали знаменитые поэты, артисты, учёные. На фасаде красовались мраморные и гранитные доски в честь именитых жильцов. Теперь же двор дома облюбовали проститутки. Собирались в сумерках в глубине двора. Подкатывал вместительный джип. В свет фар набегали проститутки. Мерцали их разноцветные юбочки, накрашенные лица. Здоровенный парень обходил их ряд, заставлял поворачиваться спиной, открыть рот. Так на ярмарках покупали лошадей. Три или пять проституток забирались в джип. Машина уезжала, а проститутки оставались в темноте двора, пока не подъезжала другая машина. Утром, когда он выходил из подъезда, в нос шибал едкий запах мочи. Это проститутки ночью мочились у стен дома.

Он не долго выбирал, чью сторону взять среди бесчисленных столкновений. Выбрал ту, что ходила под красными флагами. Вместе с демонстрантами попал под дубины солдат.

Его били у Белорусского вокзала, когда нестройно шли ветераны, писатели, рабочая молодёжь. Они сели на мокрый асфальт, закрыв голову руками, а солдаты внутренних войск ходили среди них и наносили удары дубинками.

Их били у площади Маяковского, когда он нёс впереди колонны красный флаг. Навстречу двигался сомкнутый строй солдат в касках, с железными щитами. Когда два строя сошлись, он ударил ногой в железный щит, и гулкий удар слился с другим ударом, прозвучавшим когда-то в Герате.

Их били в Останкино. ОМОН в белых шлемах, размахивая дубинками, вламывался в толпу, и какая-то женщина визжала, карабкалась на фонарный столб, и он видел перед собой узорное литье столба и её голые ноги.

Он ненавидел. Был готов стрелять в костоломов, в тяжеловесных парней, уводивших в джип раскрашенных девушек, в музыканта, похожего на бородатого козлика с серебряной змеей в руках, в тяжкого хриплого, жуткого в своей разрушительной мощи Ельцина, окружённого роем крикливых, назойливых, беспощадных сподвижников.

Он был с баррикадниками, которые упорно, как муравьи, сносили к Белому дому из окрестных дворов доски, арматуру, старые ящики и комоды. Громоздили весь этот хлам перед мраморным фасадом Дома Советов. А потом пели, танцевали, читали стихи, ходили крестным ходом, и он нёс перед собой тяжёлую доску с Богородицей, а над баррикадой трепетали три флага: красный, Андреевский и чёрно-золотой имперский. Там был милый смешливый парень с забавным хохолком. Он кричал кукушкой, одаривая баррикадников долготельем. Его так и звали — Кукушка.

Хождение по чёрным, без света и тепла, коридорам Дома Советов, где мерцали и гасли фонарики, теплились свечки. Вспыхивал на мгновение ствол автомата, нашивка приднестровского батальона, знак баркашовца, золотой погон отставного офицера. Было чувство, что осаждённый Дом Советов, окружённый колючей спиралью, цепями солдат, был неприступной крепостью, откуда начнётся победное наступление, опрокинет ненавистную власть.

Тот чудесный, стужённый день, солнце, голубое небо, когда многолюдье прорвало оцепление солдат, разметало колючую проволоку, и состоялось братание, словно соединились два фронта. Люди целовали друг друга. И среди этого ликования, обнимая кого-то, он обратил вверх лицо и увидел в зелёном осеннем небе клин журавлей. Журавли кружились, курлыкали, а потом медленно покинули зелёное каменное небо, и все притихли, провожали печальный клин.

Потом горело Останкино. Грохотали пулемёты, длинные пунктиры врывались в толпу, выстригая в ней пустоты. Он слышал, как чмокнула пуля в бегущую рядом женщину. Шальной БТР носился, разрубая толпу. Из люка смотрело сумасшедшее, с белыми глазами лицо водителя. Ненависть к этому водителю, к осатанелому БТРу была столь велика, что он кинул бутылку с бензином. Промахнулся. Бензин горел на асфальте, а по нему с воём бежали люди.

Он вернулся в Дом Советов, лёг на пол и завернулся в ковёр. Дрожал, то ли от холода, то ли дала себя знать контузия, которая вновь в нём воскресла.

Танки били болванками по Дому Советов, стоя на мосту, вздрагивая при каждом выстреле. Он ждал, когда в окно ворвётся снаряд, расплющит его красной кляксой. Паренёк, которого звали Кукушкой, взял образ Богородицы и вышел навстречу танкам. Шёл, пел, куковал, выставил икону, умоляя прекратить стрельбу. Его скосила пулёмётная очередь, и он остался лежать на асфальте.

Их выводили из Дома Советов с поднятыми руками. Рядом бесновалась толпа, размахивала велосипедными цепями. Было солнечно, жутко. Униженный, погранный, он покидал Дом Советов. Сзади разгорался пожар, белые стены лизала чёрная копоть.

Он бежал из проклятой Москвы, спасаясь от погони. За ним гнались духи в чёрных масках. Сквозь прорезь смотрели свирепые, налитые кровью глаза. Их вёл по следу музыкант, похожий на козлика. Путь указывала серебряная змея.

Он пересаживался с поезда на автобус, с попутной машины на электричку. Путал следы, кидался вспать, ночевал на вокзалах и вскакивал ночью, слыша приближение погони. Он убегал, не зная куда, гонимый едким страхом, слыша за спиной стук солдатских сапог, рёв толпы, хруст стены, которую пробивает снаряд. Стремился туда, куда во все века стремились беглые каторжники, староверы, попы-расстриги, измученные крепостные крестьяне. Огромный русский ветер раздувал его пальто, гнал на восток, пока вдруг не утих.

Он стоял на берегу осенней реки, на окраине села. Кругом великолепными иконостасами золотились леса, синели ели, летела в небе одинокая сойка, дрожала на реке студёная рябь.

Он очнулся. Бег его прекратился. Именно сюда он стремился. Мечтал о реке, о синих далях, в которых туманились золотые леса, о холодной капле дождя, которая упала ему на лицо. Он вздохнул, благодарный кому-то, кто смотрел на него из осенней тучи. Пошёл в село, в крайний дом, проситься на постой.

Он поселился у одинокой старушки, тётки Поли, которая охотно отвела ему каморку за печкой. Устроился лесником, и началась для него удивительная жизнь среди лесов, туманных просек, болот со ржавыми камышами.

Он срывал с куста малины запоздалую ягоду, чувствовал на губах её сладкую каплю. Слушал, как стихает стрекот улетавшего рябчика. Видел, как из ельника просовывается губастая лосиная голова с фиолетовыми глазами.

С лесниками, деревенскими мужиками они клеймили лес, и он ударял в гулкий ствол железным клеймом. Собирали еловые и сосновые шишки на семена, чтобы высаживать на гарях и пустошах хвойные саженцы. Пили водку, сначала молча, а потом все разом начинали галдеть, и он любил их гомон, их обветренные небритые лица, их хитрости, когда они сбывали на сторону незаконно спиленный лес, их издёвки над начальством и незлые насмешки над ним, горожанином, профессорским сыном, занесённым в их глухомань.

В селе была библиотека, большая, запущенная, примечательная тем, что в неё в смутные времена свозили книги из разорённых дворянских поместий. В её собрании были великолепные дореволюционные издания Гоголя, Лермонтова, Достоевского, а также советская фантастика. Он забирал книги, уносил в свою избу и читал, сидя за печкой.

В короткие зимние дни он бродил по лесам на широких охотничьих лыжах. А в долгие вечера садился за книги в своей каморке.

Натоленная печь слабо пахла медом. Тётя Поля раскладывала на столе карты, тасовала дам, королей и валетов. А он читал.

Прочитал всех русских поэтов от Фёдора Глинки до Твардовского. Всех русских прозаиков и советских фантастов. И по мере того как читал “Войну и мир”, или “Братьев Карамазовых”, или “Час быка” Ефремова, в нём росло чувство, что все они, писавшие свои дивные поэмы и романы, стремились познать неведомую высшую тайну, которая, непознанная, присутствовала в мире, витала над землёй, манила. Они приближались к ней, почти касались, а потом отступали, умирали, не дожив до божественного откровения.

Он прочитал хранившееся у тёти Поли старенькое Евангелие и понял, что этим откровением было Царствие Небесное, где нет смерти, нет гнёта, нет боли и где люди встретятся, забыв о земной вражде, ведая только любовь. Каждый русский писатель на свой лад писал свое евангелие, выводил путь, по которому можно достичь Царствия Небесного.

Это стремление русских писателей к недостижимому Царствию Небесному он назвал “Русской Мечтой”. Он и сам, подобно русским писателям, жил Мечтой. Был Мечтателем. В Афганистане, когда сидел в стальном коробе гусеничной машины. В толпах, шумящих под красными флагами. На баррикаде, неся в руках икону Богородицы. Он был Мечтателем, но не догадывался об этом. Теперь же это ему открылось.

Зимняя ночь. Крохотное оконце в узорном инее. Тетя Поля спит. Он читает, и ему кажется, что сейчас распахнётся потолок, откроется звёздное небо, и он устремится в сверканье, в мерцанье светил, которые расцветут сказочными цветами, несказанными дворцами. Теми, которыми полнятся русские сказки.

Весной, когда таяли снега, и кусты на опушках наливались живыми соками, стояли, как розовые и золотые шары, в селе появилась молодая женщина. Приехала из города погостить у тётки на время, пока муж находился “на северах”, зарабатывать деньги. Её звали Вера. Она была статная, с пышной грудью, шла по селу, улыбаясь, не поднимая глаз. Знала, что из всех окон наблюдают за ней. За её сапожками, меховым тулупчиком, цветастым платком, белым свежим лицом, на котором румянились губы, чернели подведённые брови, улыбались карие ласковые глаза. Он повстречал Веру на улице, поздоровался. Глаза её были весёлые, приветливые, словно она знала, что после этого ласкового взгляда он станет думать о ней, искать новой встречи.

И встреча состоялась.

Из тёмного неба сыпал мокрый снег. На улице ни души. Кое-где чуть теплятся окна. Они с Верой идут за село, откуда дует просторный ветер весны, пахнет тальми снегами, мокрой пашней, сырыми очнувшимися лесами. Они идут вдоль реки по ночной дороге. Ни пешехода, ни автобуса, ни машины. На реке в тумане плывёт огонь, рыбаки в лодке ловят на свет рыбу.

— Это боги! Это русские боги, — говорила Вера.

Он не понимал, о каких богах она говорит, но чувствовал, как вокруг витают незримые духи.

— Это русские боги! — повторяла она.

Он и Вера окружены светящимся туманом. Ночным открывшимся зрением он видит её мокрое от дождя лицо, дышащие губы. Говорит ей о Мечте что-то несвязное, восхитительное. Она отвечает ему такой же несвязной речью о русских богах, которые привели их на берег весенней ночной реки. Он обнимает её среди этой весны, опьяняющих ароматов, у туманной реки, по которой плывёт волшебный огонь. Мечта, она вот, рядом.

Автобусная будка, пустая, с шелестящим по крыше дождём. Он в темноте обнимает её, целует холодное, смеющееся лицо, прижимает губы к горячей открытой груди. Скамья, на которую он её опустил, тесная, сырая. Её тихий смех, громкий глубокий вздох. Они поднимаются, выходят на дождь

и молча идут по дороге в село. И в нём такое счастье, лёгкость, благоговение перед ней, подарившей ему эту весну, незабываемую ночную дорогу, уплывающий в тумане огонь.

К лету она уехала, не простившись. Её увёз вернувшийся муж, и больше он её не видел. Но всю жизнь вспоминал их тайные встречи, маленькую светёлку, где она жила, и он прокрадывался тайком, пробирался на ощупь сквозь тёмные сени в тёплую комнатку, где на стене висела гитара, стояла высокая, с железными шарами кровать. Её полное, голое плечо в темноте. Шары на спинке кровати, как серебряные слитки. Он засыпал, обняв её грудь. На рассвете ушёл, и она что-то сонно, улыбаясь, произнесла на прощанье. Он вышел на крыльцо. Стояла огромная малиновая заря, отражаясь в реке. Река остановилась, отяжелела от зари. Земля оставалась тёмной, на тёмной горе цвели черемухи, пахло их горечью, и по всей горе пели соловьи. Он стоял счастливый, любящий, среди соловьиных свистов, под малиновой весенней зарёй.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вскоре и он оставил село и пустился в странствия. Не задерживался подолгу на одном месте. Менял работу, пробуя себя трактористом, рабочим в геологической партии, охранником, каменщиком на стройке.

Мимо него, не задевая, не рая, прошли Чеченские войны, сначала одна, потом другая. Сменилась власть. Страну терзали теракты. Он отмахивался от них, сторонился московских треволнений и бурь.

Свою великолепную московскую квартиру он сдал богатому армянину. Тот высылал ему деньги, большую часть которых он не тратил, а сберегал.

Мечта о сказочном царстве, о небесном чуде, о вселенском братстве не оставляла его. Он видел, что русский народ-мечтатель, создавший великое государство между трёх океанов, теперь потерял Мечту. Государство разрушалось и падало, а вместе с ним погибал народ.

Признаки этой гибели наблюдались повсюду. Город, который когда-то расцвёл вокруг оборонного завода, теперь, когда завод закрыли, — город превращался в руину. Дом культуры, стадион, памятник советскому солдату ветшали, шелушились, тонули в мусоре. Рабочие превратились в бродяг, слонялись без дела. Растаскивали бесхозный завод, тащили в свои утлые жилища бессмысленные обломки. Приборы, трубы и вентили, листы железа, детали неведомых изделий, которые прежде мчались в небе, плыли под водой, взлетали на орбиты. Люди, как молчаливые муравьи, тащили мёртвых личинок, и глаза их были полны тусклого дыма.

В большом придорожном селе, где когда-то славился богатый совхоз, колосились поля, гуляло тучное стадо, теперь вместо коровников стояли скелеты, поля зарастали лесом, заборы повалились. Мужики спились, гурьбой слонялись по улице, осаждали магазин, вымаливая у продавщицы бутылку. Женщины, оставляя дома детей, молодые и старые, выходили на дорогу, предлагая себя дальнбойщикам. Возвращались в село с размазанной по лицу помадой.

Он видел страшную драку цыган и русских. Хрустели колья, хрястали железные шкворни. Бородатый цыган держал на ладони свой кровавый вытекший глаз. Русский парень схватился за бок, в котором торчала финка. Мужики с двустолками палили картечью, и цыгане убегали, волокли по земле убитых и раненых.

В городке судили подростков. Ученики старших классов изловили молодую учительницу, привязали к столу и насиловали всем классом. Вытолкали голую на улицу.

Он видел, что в народе поселился зверь. Народ-великан, народ-мечтатель, победивший в страшной войне, полетевший в Космос, потерял Мечту и превратился в народ-лиллипут, народ-малOVER. Невыносимым страданием была жизнь среди погибающего народа, и он думал, как вернуть народу Мечту.

Он осел в небольшом губернском городе, поступил в институт на исторический факультет и окончил его заочно. В институте был интернет-кабинет. Он часами плавал в таинственной ноосфере интернета, читая философов, историков и богословов, статьи которых он когда-то находил в журналах “Аполлон” и “Весы”, пахнущих горьким миндалём. Теперь же эти мудрецы говорили о существовании восхитительного царства, к которому во все века стремилась русская душа. Почти достигала ослепительного чуда и вновь срывалась в сумерки.

Он чувствовал своё предназначение. Он должен изгнать из народа зверя и вернуть народу Мечту.

Однажды он шёл по горячим лугам, перебрал студёные ручьи. Кругом всё цвело, благоухало, летали стрекозы, кружили бабочки. Высоко парил медлительный ястреб. Блестела река. Он шёл без усталости среди колыхания трав и блеска солнечных вод, и его душа молитвенно стремилась ввысь, зывала, ожидала долгожданного чуда. Вдруг полыхнули воды, ослепительно вспыхнули травы, взлетели из воды все рыбы, взметнулись все луговые птицы. Могучая бесцветная вспышка ослепила его. Он поднялся ввысь и оттуда увидел всю землю, всё небо, всё мироздание. Оно цвело, благоухало волшебным садом, и в этом саду было множество прекрасных людей. Его бабушка, мать и отец, и молодой лейтенант, погибший под Гератом, и те жених и невеста, сгоревшие в Доме Советов, и зарезанный в драке парень, и изнасилованная учительница, найденная в петле. Все были живы, прекрасны, любили друг друга.

Это длилось мгновение. Вспышка погасла. Он спустился на землю, стоял в ручье, и вокруг снова лежали стрекозы. Он побывал в сказочном царстве. Ему открылось небывалое знание. Он был там, куда звала русская Мечта, где нет смерти, а только одна любовь.

Это чудо было сладостно, несказанно. Он ждал его повторенья. Бродил по тем же лугам, перебрал те же ручьи. Но чудо не повторялось. Тихо остывало, рождая печаль.

Но вдруг он увидел сон. Ему явилась Русская Мечта в виде золотой мозаики, которой выкладывают в храме изображение Богородицы. Он не знал, в каком храме сияло это золотое изображение, — в Святой Софии Цареградской, или в Софии Киевской, или в Новгородской. Быть может, оно сияло в том царстве, что явилось ему среди лугов и ручьёв.

Изображение Богородицы состояло из множества золотых частиц. Каждая была таинственным кодом, пробуждала в народе его сокровенные свойства, делала народ необоримым мечтателем. Эти коды в виде золотых частиц, были выложены в особом порядке, в особой последовательности. Только при этой последовательности возникало изображение Богородицы, слагался образ Мечты.

Нескольких золотых частиц не хватало, и он во сне принялся их искать, чтобы заполнить пустоты.

Сон был яркий, огненный, запечатлелся в нём, как отпечаток. Сохранился после пробуждения. Он видел последовательность кодов, видел пустоты недостающих частиц. Коды складывались в таблицу, которую предстояло дополнить.

Он записал свой сон. Нарисовал Богородицу. Начертил таблицу, в которой каждый код будил в народе то или иное чувство, а все вместе они рождали Мечту.

Он стал обладателем таинственных знаний, хранителем волшебных кодов. Владел чудотворной таблицей, коды которой преображали народ. Возвращали народу Мечту.

Он описал явленное ему видение, отправил в местную газету. К удивлению, это описание было опубликовано под рубрикой “Чудаки”.

Он написал другую работу, о Русской Мечте. Послал в московскую газету. Статья была напечатана в рубрике “Нечто”.

Его пригласили в Москву на телепрограмму, занимательную и весёлую. Он поехал, выступил. Это выступление, его рассказ о Русской Мечте породили несколько других приглашений, в другие программы, развлекательные

и научные. “Мечта” кружила воображение редакторов и телеведущих. Он решил, что так проявляет себя то несказанное чудо, которое его посетило в лугах. Тот сон, в котором ему явилась таблица. Когда вспышка, что его ослепила, утратила свой слепящий свет, он стал различать множество новых явлений, о которых раньше не ведал. Ему стало открываться таинственное содержание русской истории, тайные коды, которые в ней хранились и позволили народу создать непомерное государство среди трёх океанов.

Он стал различать музыку русской истории, “музыку русских сфер”. Невидимый пианист играл на поднебесном рояле. Нажимал одну клавишу, и русские землепроходцы и казаки выходили к берегу Тихого океана, смотрели, как всплывает из пучин сказочная рыба-кит. Нажатие другой клавиши, и русские танки танцуют кадрили на бункере имперской канцелярии, закупоривая вход в преисподнюю. Нажатие третьей клавиши, и русский человек с белоснежной улыбкой летит в Космос.

Наконец, после долгих скитаний он вернулся в Москву. Продал дорогую квартиру на Тверской. На вырученные деньги купил небольшой двухэтажный домик в ближнем Подмоскowie и машину. Перевёз из московской квартиры мебель, старомодный книжный шкаф, старинный письменный стол, светильник из наборного стекла. Оставались деньги от предыдущих накоплений, что позволяло ему скромно существовать, не заботясь о хлебе насущном. Он посадил вокруг дома ели, сосны, дубы и клёны. Завёл кота и стал жить, совершая наезды в Москву, проповедуя Русскую Мечту. Продолжал заполнять в таблице редкие пустоты, искал недостающие частицы, чтобы золотая Богородица воссияла над Россией, как солнце.

Бумажный лист, на котором была нарисована явленная во сне таблица, Пётр Дмитриевич сжёг. Она была у него под сердцем. Он видел её внутренним оком. Мог воспроизвести во всей полноте. Понимал, что обладает сокровищем. Это сокровище вручил ему сам Господь. Выбрал из миллионов людей и открыл тайну, как божественная воля сотворила Россию. Он понимал, что этой тайной могут воспользоваться дурные люди. Те, кто замышляет против России зло, кто лишил народ Мечты и не желает её возвращения.

Петра Дмитриевича посещали страхи. Он боялся нападения. Боялся не за себя, а за дивное сокровище, которое могут украсть, вырезав вместе с сердцем.

Сорокасемилетний Пётр Дмитриевич Агеев, сухощавый, с серыми тихосияющими глазами, сдержанный, но вдруг начинавший проповедовать, — таким он предстал в московских кругах, где его принимали одни за чудака, другие — за колдуна, третьи — за актёра, умевшего морочить голову публике.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кот, которым обзавёлся Пётр Дмитриевич, получил имя “Кузьмич”. Михаил Кузьмич — так звали школьного учителя словесности, который являлся на урок в застиранной косоворотке, с поношенным портфелем, неловко усаживался, хватая край стола костлявой пятернёй, и читал нараспев стихи. Его глаза широко раскрывались, словно он видел бесконечные чудные дали.

Пётр Дмитриевич полагал, что Михаил Кузьмич не умер, а переселился в кота, чтобы не расставаться с любимым учеником. Теперь, спустя много лет между ними по-прежнему сохранялись отношения взыскательного педагога и прилежного ученика.

Кот Кузьмич был крупный, пушистый, с тёмными полосами на бежевых боках. У него были великолепные усы и большие золотые глаза, которыми он страстно и неотрывно смотрел на Петра Дмитриевича. Чёрные зрачки, окружённые золотом, уводили в бесконечный сумрак вселенной, открывали ход в миры, где горели звёзды, пылали светила, реяли неведомые духи, недоступные для Петра Дмитриевича, но доступные коту. Заглядывая в эти немигающие огненные глаза, Пётр Дмитриевич сочелся с тайнами мироздания, а также с земной природой. С птицами, за которыми охотился Кузьмич. С шелестящими в траве мышами. С бабочками, за которыми гонялся кот.

С таинственной жизнью окрестных садов и огородов, где протекала ночная жизнь kota.

Русский фольклор, чудесные сказки убеждали, что переселение душ возможно. Царевич обращался в серого волка. Дева переселялась в плачущий тростник. Витязь кидался через плечо и становился ясным соколом. Поэтому превращение Михаила Кузьмича в kota не вызывало недоумения. Являлось русским волшебным кодом, делающим человека созвучным природе и всей вселенной.

Kot много гулял по окрестностям. Дома спал на излюбленном месте рядом с книжным старинным шкафом с запахами горького миндаля. Когда Пётр Дмитриевич ложился отдохнуть на диван, kot запрыгивал ему на грудь и вытягивался, придавливая своей тяжестью. Золотые глаза гасли, он тихо мурлыкал, не позволяя Петру Дмитриевичу шевельнуться. Демонстрировал свою полную власть над ним.

Утром Пётр Дмитриевич выпустил Кузьмича из дома, наблюдая, как тот осторожно, чутко вдыхая запахи трав и деревьев, направляется в кущи, исчезает в мире кузнечиков, мышей, трясогузок. Сам же Пётр Дмитриевич погрузился в чёрный, выдавший виды “Опель” и отправился в Москву на телешоу, куда был зван как “курьёзный мечтатель”.

Студия помещалась в здании огромного завода, где прежде создавались могучие машины, строились исполинские агрегаты. Завод рухнул, его разобрали на части, как разобрали на части “красную страну”. Обломки станков и кранов, осколки машин и агрегатов пустили на переплав. В пустых цехах разместились телестудии и фотоателье, пиар-конторы и юридические консультации. Места инженеров и рабочих заняли нотариусы, продюсеры, рекламные агенты. И только у высоких закопченных сводов реяли духи небывалых изделий.

Программа, куда был приглашён Пётр Дмитриевич, называлась “Культурное побоище”. Художники, писатели, режиссёры, исповедующие разные взгляды на политику и культуру, сходились в жестокой схватке. Кричали, оскорбляли друг друга. Ведущий Борис Журавлик не давал утихнуть сражению, умело стравливал соперников. Казалось, вдыхал парной запах, какой возникает во время случки собак. Зрители ужасались и восхищались, нажимали на кнопки пластмассовых пультов, выражая предпочтение тому или иному гладиатору.

Соперником Петра Дмитриевича был культовый режиссёр Эраст Богоносцев. В его спектаклях пьесы русских классиков обретали вид чудовищных фарсов, уродливых оргий. Русская жизнь, русские персонажи превращались в устрашающий скабрёзный анекдот, в собрание смехотворных уродцев. Эраста Богоносцева поощряли премиями. На его спектакли приходили министры, депутаты Государственной думы.

Петра Дмитриевича усадили в кресло на подиуме. Рядом разместился Эраст Богоносцев. У него был гордый заострённый нос, похожий на клюв. Голова надменно откинута, будто он готовился нанести удар клювом. Глаза под чёрными бровями сверкали, ходили кругами, словно высматривали жертву, которую надлежало клонуть. Узкие губы усмехались, как если бы реальность, его окружавшая, была смехотворна, заслуживала издёвки. Из рукавов чёрного сюртука выглядывали кружевные манжеты. Руки нежные, ухоженные, как у женщины, с розовым маникюром. На пальце сверкал перстень с тёмным бриллиантом.

Борис Журавлик встал между Петром Дмитриевичем и Эрастом Богоносцевым. Простёр над ними руки, покачивал ими, словно это чаши весов. Он был мягкий, полный. Его плоть оплывала от плеч к бедрам, как оплывает из квашни перезревшее тесто. Голый череп блестел. Щеки сдобно обвисли. Весёлые глазки сияли, как масляные лампадки. Он передвигался мелкими шажками, разведя мыски, будто вместо ног у него были лапы.

Зал был полон зрителей, в большинстве своём театралов, явившихся поддержать обожаемого режиссёра. В руках у всех — пластмассовые пульты, сигналы от которых выводились на экран.

— Господа! — Борис Журавлик голосом циркового конференсье обратился к залу. — И вновь перед нами поле брани, где в страшном побоище сойдутся два непримиримых бойца. Их битва будет беспощадна. Нас забрызгают кровью. Отсечённые руки, вырванные языки, выбитые глаза будут разбросаны по рядам. Одна из этих прекрасных голов покатится вам под ноги. Такова схватка современных идей! — Борис Журавлик сокрушённо вздохнул, сожалея о жестоких нравах, царящих в культуре. — Приветствую нашего великого режиссёра Эраста Богоносцева, чьи огненные спектакли испепеляют утлую традицию, открывают путь в пугающее ослепительное будущее. Увлекают за собой самых отважных и дерзких, многие из которых присутствуют сегодня в зале!

Зал отозвался овациями. Было много молодых людей, стильно одетых. Среди них — интеллигенты постарше, не пропускавшие скандальные премьеры и авангардные вернисажи.

— Богоносному витязю дерзнул противостоять Пётр Агеев, открыватель Русской Мечты, составитель волшебной “Таблицы Агеева”. С её помощью он надеется разбудить богатырские силы, дремлющие в русском народе. Пожелаем ему успеха!

В ответ раздались редкие хлопки. Пожилая женщина в блеклом платье, сутулый старичок с седыми усиками, девушка провинциального вида, казавшаяся измученной и забитой, — они захлопали и тут же устыдились своих хлопков.

Пётр Дмитриевич чувствовал враждебность зала. Лукавые глазки ведущего сулили ему поражение.

— Начнём поединок! Первое слово Эрасту Богоносцеву!

Режиссёр милостиво усмехнулся. Всё вокруг: и зал, и преданные обожатели, и велеречивый Борис Журавлик, и скромный старичок с усиками, и он сам, оказавшийся актёром на чужой сцене, — все заслуживало иронии и сарказма. Эраст Богоносцев отвёл назад остроносую голову, страстно взглянул на Петра Дмитриевича и клоннул его. Резко закивал, задвигал кадыком. Казалось, он вырвал из добычи сочный клочок и жадно проглатывал.

— Мы существуем в квантовой реальности, когда единица больше, чем двойка, чёрный квадрат превращается в радугу, неподвижность стремительней скорости света. Спираль галактики повторяют спираль генома, а цифра, что умертвляет живое слово, становится залогом бессмертия. — Эраст Богоносцев долбил клювом Петра Дмитриевича, заклёвывал насмерть. — В этой квантовой реальности, где волна ослепительной красоты превращается в чёрный фотон уродства, наши русские традиционалисты, весталки погасшего огня, выносят на сцену старый сундук. Вытаскивают из него плисовые штаны дяди Вани, сальный корсет Раневской, сапоги бутылками и зипун. Называют всё это “русскими кодами”. Сморгаться в два пальца, закусывать рукавом, бить девок по заднице деревянной лопатой — это и есть ваши “русские коды”? Ваши “русские глаголы вечной жизни”? — Эраст Богоносцев захохотал, открыв чёрно-красный зев, в котором клочкотала ярость. — Мой театр — это кузница, в которой мы дробим эти мёртвые коды. Срываем печати с могильного склепа, где лежит омертвевшая Россия. Хотим поднять Россию из гроба. Разбудить любой ценой, даже прижигая её сигаретами. В этом видим призвание современного русского искусства!

Эраст Богоносцев победно откинул голову, сверкал глазами, словно искал несогласных, чтобы их заклевать.

Зал аплодировал. Молодая женщина с голубыми волосами и пунцовыми воспалёнными губами крикнула: “Виват!” Мерцали вепышки. Кто-то кинул на подиум красный цветок.

— Великолечно! — восхищался Борис Журавлик. — Разящий удар! Быть может, “удар милосердия”? Ваш ответ, господин Агеев!

Пётр Дмитриевич растерянно смотрел в зал, видел ироничные, любопытствующие лица. Режиссёр был похож на беркута, чей клюв больно его изранил. Этот клюв продирался под сердце, где таилась драгоценная таблица. Хотел её вырвать, разметать на множество золотых частичек.

Пётр Дмитриевич сберегал сокровище, заслонял его сердцем, чувствовал проникающие ранения в сердце. Искал и не находил слов. Путано произнёс: — Нельзя прижигать сигаретами. Разве можно большую мать прижигать? Огни не погасли. В храме сумрак, но лампы горят. Русские коды, как бриллианты. Нельзя класть бриллианты на наковальню под удары кувалды! — Пётр Дмитриевич замялся, сбился, умолк.

— И это всё? — удивился Борис Журавлик, — Что ж, похвально, похвально! Особенно про бриллианты! Про ваш перстень, Эраст! — Он улыбнулся, сочувствуя немощному Петру Дмитриевичу. Зал отозвался улыбками и смешками.

Эраст Богоносцев взмахнул руками, словно собирался взлететь. Заплескались кружевные манжеты. Сверкнул чёрный перстень. Его голос был властным, с колдовским рокотом. Он был чародей, повелевающий заколдованными душами:

— Россия — это затонувшая подводная лодка. Она лежит на дне. В ней поселились глубоководные рыбыны, крабы, осьминоги. Она обросла ракушками. И не дай Бог, она снова всплывёт! Миру хорошо без России. В мире совершаются небывалые открытия, рождаются Нобелевские лауреаты, возникают восхитительные театральные и литературные школы. Люди сберегают природу, будь то лист папоротника или кристалл арктического льда. Охраняют зверей и птиц, набожно относятся к человеческой жизни и человеческой душе. Но если Россия всплывёт, опять начнётся мировая жуть. Двинутся по планете красновзвёздные армии, поднимутся вышки концлагерей, станут расстреливать поэтов и философов, и символом нового мира станет хамский солдатский сапог и грузинские усы под кокардой. Русские интеллигенты не позволяют поднять со дна это утонувшее чудище. Мы уничтожим коды апокалипсиса!

В зале хлопали. Борис Журавлик протянул к Эрасту Богоносцеву руки, словно держал на них блюдо, угощал зал:

— Ваш черёд, господин Агеев. Заступитесь за матушку Русь!

Пётр Дмитриевич молчал. Он был заколдован чародем. Его мысли оледенели, как замёрзшие волны на застывшем озере. Он не пускал чародея себе под сердце, где таился бесценный клад, животворящая “Таблица”. Позволил стальному клюву терзать плоть, не допуская его к золотой Богородице.

— Нет, нет, Россия не утонувшая лодка! Она ковчег спасения! Европу зальёт вода, и европейцы приплывут к нам на своих углых челнах, и мы их примем, как братьев!

Весёлые лучики сыпались из глаз Бориса Журавлика. Он наслаждался, видя немощь Петра Дмитриевича. Подмигивал залу, извинялся за беспомощность гостя. Эраст Богоносцев не торопился добывать свою жертву. Его клюв наматил место, куда будет нанесён завершающий удар:

— Читателем моего театра будет интересно узнать, что я начал работу над новым спектаклем. Мы ставим “Евгения Онегина” Пушкина, но в новой редакции. Мы спасаем Пушкина от забвения. В прежнем виде он несносен, его отвергает современное сознание. Мы воскрешаем мёртвого Пушкина. В нашем случае Евгений Онегин является хипстером, который умертвил своего богатого дядюшку с помощью полония и завладел его именем на Рублёвке. Соседом Евгения Онегина оказался молодой блогер и поэт Владимир Ленский. Он, как и Евгений Онегин, — гей. Между ними возникает любовь, которая заканчивается однополым браком. Вдвоём они навещают гостеприимную семью Лариных. Ветеран внешней разведки Иван Ларин, он же дядя Ваня, является опекуном трёх сестёр Лариных — Татьяны, Ольги и Вероники. Сестрам скучно на Рублёвке, они рвутся в ночные клубы и то и дело восклицают: “В Москву! В Москву!” Евгений Онегин, будучи бисексуалом, влюбляется в Татьяну Ларину. Ленский ревнует Онегина, и тот умертвляет блогера с помощью газа “Маячок”. Посмертно Ленский получает Нобелевскую премию, а Онегин, совратив Татьяну и убив Ленского, боится преследования и скрывается в Лондоне. Дядя Ваня берёт на себя грех племянницы Татьяны и женится на ней. Две другие сестры, Ольга и Вероника, становятся проституткам и в составе эскорта разъезжают по всему миру.

Однажды в Лондоне на развратной вечеринке они встречают Евгения Онегина. Вспоминают своё целомудренное прошлое и восклицают: “В Москву! В Москву!” Онегин на берегу Темзы убивает чайку, приносит сёстрам, и они смотрят на бедную птицу, которая напоминает им Татьяну. Та к тому времени овдовела, ибо дядя Ваня умер. Узнав об этом, Евгений Онегин устремляется в Москву с криком: “Карету мне! Карету!” На этом спектакль не заканчивается. Пушкин спасён. Он вышел из склепа, куда его заточили блюстители традиционных ценностей с их дурацкими кодами и таблицами. Пушкин снова среди нас, завтракает по утрам в ресторане “Пушкин” в обществе миллиардера Тайванчика!

Эраст Богоносцев торжествующе смотрел на соперника, отпуская ему ещё несколько минут жизни, прежде чем ударит в него отточенным кловом. И тогда восхищённый зал увидит, как хищный коршун станет хлопать крыльями над несчастной жертвой, добывая её беспощадным кловом.

Пётр Дмитриевич испытал лёгкий толчок, какой случается в момент пробуждения. Волшебная Таблица, дремавшая под сердцем, вдруг просияла дивными переливами. Дурной сон оборвался. Пётр Дмитриевич выходил из сна свежим, помолодевшим, с сияющими глазами. Он не испытывал неприязни к хулителю, к его словам, которыми тот стремился причинить боль. Отточенный клов не наносил вреда. Пётр Дмитриевич не чувствовал боли, не подчинялся лукавым правилам, которые придумал вероломный Борис Журавлик. Пётр Дмитриевич был волен, не подвержен злым чарам.

— Известно, что Адольф Гитлер, желая вдохновить немецкий народ, утративший волю, веру, поверженный физически и духовно, создал тайный орден, секретное подразделение “Аненербе”. Чародеи подземных глубин и маги “Аненербе” находили истоки “сумрачного германского гения” в древнем эпосе. В мифах о нибелунгах, о Зигфриде, о Золоте Рейна. Гитлер подключил немцев к тайным кодам немецкой истории, и эти коды сотворили Германию, которая покорила Европу. Сделали немецкого солдата непобедимым. Этого непобедимого жестокого солдата Гитлер бросил на Россию.

— Позвольте, господин Агеев, при чём здесь Пушкин? Где Пушкин, а где Зигфрид? — Борис Журавлик смешно скосил нос в одну, потом в другую сторону, видимо изображая Гитлера и Пушкина.

Пётр Дмитриевич не обратил внимания на ироничную гримасу:

— Перед войной Сталин повелел сделать Пушкина самым великим и известным советским поэтом. Пушкина издавали миллионными тиражами, его стихи читали по радио, декламировали в школах, в рабочих коллективах, на приграничных заставах. Звучали романсы на слова Пушкина. Шли оперы по мотивам пушкинских поэм и сказок.

— Ну, это же “дела давно минувших дней, преданья старины глубокой!” — перебил Петра Дмитриевича Борис Журавлик. — Что вы можете возразить Эрасту Богоносцеву?

— Пушкин был тем колодцем, из которого пил перед боем советский народ. Пушкин будил в русском человеке потаённые коды, которые сделали русского человека самым трудолюбивым, возвышенным, верящим и бесстрашным. Позволили русскому народу создать невиданное государство между трёх океанов. Эти пушкинские коды соединили народ с глубинными силами, сделавшими народ неодолимым.

— Вы хотите сказать, что маршал Жуков был пушкинист? — засмеялся Борис Журавлик.

— Русский народ — пушкинист. Пушкин сражался вместе с советскими солдатами под Москвой, громил немцев у Волоколамска и Истры. Он стоял насмерть на Волге под Сталинградом, смыкая кольцо окружения. Умирал от голода в блокадном Ленинграде. Горел в танках на Курской дуге, стеная от ожогов вместе с танкистами в лазаретах. Ходил в контратаки с морской пехотой под Севастополем. В Берлине, на куполе рейхстага вместе с советскими пехотинцами сжимал древко знамени Победы. Пушкин победил Зигфрида. “Медный всадник” победил “Аненербе”!

Пётр Дмитриевич слышал, как по залу катится ропот. Люди изумлённо переглядывались, что-то шептали друг другу. То ли возмущались, то ли

соглашались. Усатый старичок бодро расправил плечи, озирался, искал вокруг себя тех, кого взволновали слова Петра Дмитриевича, кто считал себя “пушкинистом”. Пожилая женщина распрямилась в кресле, посветлела лицом. Девушка, казавшаяся забытой и изнурённой, улыбалась, её губы шептались, благодарили Петра Дмитриевича.

Эраст Богоносцев стал похож на ночную птицу, которую ослепил дневной свет. Крутил носатой головой, не понимая, откуда грозит опасность.

Пётр Дмитриевич испытал счастливое озарение. Он катился по сверкающей снежной дороге, и в лицо летело множество серебристых снежинок. Чудесный шелест полозьев, лошадь встряхивает заиндевелой гривой, разбирается в стороны букеты белого пара, и шишки на елях малиновые в вечерней заре.

Пётр Дмитриевич закрыл глаза и читал нараспев стихи, которые изливались из его уст восхитительным нескончаемым потоком, захватили и несли туда, где “бег санок вдоль Невы широкой, // девичьи лица ярче роз”. Игла в золотой морозной дымке, колонны в белых пушистых шубах, на бронзовом всаднике белая шляпа снега, и он целует на морозе её мягкие губы, она смеётся, отстраняется, и фонарь на Марсовом поле окружён летучими радугами. Обнявшись, идут вдоль Зимнего дворца, и в окна переливается перламутровый город, над которым в вечернем небе плещутся “лоскутья сих знамён победных, // сиянье шапок этих медных, // насквозь простреленных в бою”.

Дивизия выдвигалась к Герату, 101-й Гератский полк встретил их кострами, и танки скрипели в песке, пятились среди костров, направляя пушки в ночь. Он вдруг вспомнил отца, его прекрасное печальное лицо в свете настольной лампы, и странный скрипучий звук, словно хрустнула половица паркета. Те зимние бури, что крыли “небо мглою”, и он выбегал из натопленной избы на мороз и смотрел на синюю луну, по которой бежала мгла, ему хотелось подняться на цыпочки, дотянуться до ночного светила и тронуть его губами. В избе тётя Поля раскладывала на клеёнке королей и валетов, было слышно, как потрескивает от мороза тесовый забор. Тётя Поля шла в сарай, снимала с насеста кур и несла в избу, опускала в погреб, чтобы птицы не отморозили гребни. У петуха был горячий огненный гребень и яркий мерцающий глаз. Ночью из погреба раздавался крик петуха, и казалось, что в центре земли живёт волшебный вещий петух. “Я помню чудное мгновенье...” Тот чудесный весенний дождь, когда таяли ночные снега, и пахло первыми распустившимися в оврагах цветами. Они шли с Верой вдоль реки, по которой плыл туманный огонь и раздавались голоса рыбаков. Шоссе было пустынным в дожде, и они спрятались под крышей автобусной будки, видели, как проплывает мимо речной огонь. Он обнял её, целуя холодное лицо и горячую дышащую грудь. И когда расцвела по крутым берегам черёмуха, и он выходил от неё под латунной недвижной зарёй, и по всей земле пели соловьи, он испытал ликующую радость и силу под этой недвижной зарёй, среди соловьиного пения, и жизнь казалась ему бесконечной.

Пётр Дмитриевич очнулся, улыбался, как блаженный. Не понимал, читал ли он вслух стихи, или они звучали в нём восхитительными виденьями.

Зал рукоплескал. Казалось, что по лицам летают зарницы. Пожилая женщина в небрежной одежде помолодела, в ней ожила былая красота, платье её струилось шёлком. Старичок с усиками больше не казался старичком, а выглядел молодецкато, рукоплескал и выкрикивал: “Браво!” Девушка уже не казалась опечаленной и усталой. На её лицо упал луч, озарил, и она стала красавицей. Посылала Петру Дмитриевичу воздушный поцелуй.

— Берите пульты, господа! Нажимайте красные кнопки! Выказывайте своё предпочтение! — Борис Журавлик приглашал зрителей вынести свой приговор и назвать победителя. По экрану бежали цифры. Две трети зрителей присудили победу Петру Дмитриевичу.

Эраст Богоносцев язвительно улыбался, не признавал поражение. Отбросил стул и покинул подиум.

— Вы были великолепны, Пётр Дмитриевич. Вы нащупали в людях код, который я бы назвал “код Пушкина”. Я поверил в “Таблицу Агеева”.

— Вот теперь и вы пушкинист, — добродушно рассмеялся Пётр Дмитриевич.

— Я хотел передать вам приглашение. Завтра состоится вечер, который раз в году затевает наша популярная радиостанция “Эхос Мундис”. Там будут выдающиеся политики и художники, а также самые прекрасные светские львицы. Вот вам пригласительный билет, — Борис Журавлик протянул Петру Дмитриевичу карту, на которой изображалось ухо с волнами влетающего в него звука. — Надеюсь, завтра снова увидимся.

Пётр Дмитриевич, взволнованный успехом, возвращался в свой загородный дом. Покидая вечернюю, озарённую огнями Москву, сворачивая на загородное шоссе, он вспоминал эпизоды недавней схватки. Тот чудесный полёт по снежной дороге, золотую иглу, окружённую морозным туманом, и девушку в зале, на которую упал луч и сделал её прекрасной.

Он поставил машину подле дома, под клёнами. После горячей Москвы здесь пахло пионами, тёмными, полными ночных ароматов берёзами. У дверей в темноте его встречал кот Кузьмич, нетерпеливо мяукал, требуя, чтобы его впустили в дом.

— Отчитываюсь перед вами, Михаил Кузьмич. Ваши уроки литературы пошли впрок. Пушкин победил, и Пётр “промчался пред полками, // могуч и яростен, как бой”! — он впустил Кузьмича в прихожую, где кот с радостным урчанием принялся поглощать свои лакомства.

Уже в постели, перед сном Пётр Дмитриевич подумал, что прожил день не напрасно. Был открыт ещё один русский код — “Пушкин”. Золотая Богородица — Русская Мечта — обрела ещё одну золотую частицу. “Таблица Агеева” пополнилась ещё одним волшебным элементом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пётр Дмитриевич раздумывал, принять ли ему приглашение, поступившее от радиостанции “Эхос Мундис”. Посетить ли престижную вечеринку, вход на которую доступен лишь избранным. Или внять заповеди, гласившей: “Блажен муж, не идущий на совет нечестивых”. И словам другой заповеди: “Не ходи в дом врага”. Ибо “Эхос Мундис” — радиостанция “врагов” и “нечестивцев”.

Все либеральные кумиры, фрондирующие оппозиционеры, язвительные богохульники, утончённые извращения, ниспровергатели основ, духовные смутьяны, безоглядные западники — все получали эфир на “Эхос Мундис”. Радиостанция была больше, чем радиостанция. Она была партия, искусно управлявшая умами и душами, школа, готовящая либеральных политиков, организация, подавлявшая “русские коды” везде, где они обнаруживались, — в политике, искусстве, в дискуссиях и спорах. Петру Дмитриевичу, когда он слушал “Эхос Мундис”, казалось, что из радиоприёмника нескончаемо изливается горячий вар, заливает умы и души раскалённой тьмой. В этой тьме гаснут разноцветные образы русского мира, и вместо них вырастают чертополохи и колючки с огненными цветами преисподней.

Вечеринка проходила в художественной мастерской скульптора-гигантомана. Его латунные великаны высились над крышами городов, рождая в жителях реликтовый ужас, воспоминания о временах, когда землю населяли жестокие исполины. Некоторые из латунных гигантов прохудились от времени, и когда дул ветер, начинали выть, стелать, скрежетать. Это побуждало горожан покидать родные места, у женщин вызывало выкидыши, увеличивало число самоубийств. Знаменитого скульптора это не останавливало. Громадного роста писатели, цари, полководцы перекликались друг с другом, посылали из города в город стенающий звук, который нёсся над пустынными полями России, пугая одиноких путников.

Пётр Дмитриевич протиснулся сквозь толпу желавших попасть на приём, предъявил в дверях пригласительную карту и оказался в зале приёмов.

Просторное помещение напоминало ассирийский или египетский храм. Подобно древним богам, высились громадные статуи, подширала латунными шлемами, фуражками, бородами сумрачный свод.

Из мрака вдруг начинал смотреть выпуклый, с медным отливом, глаз. Вспыхивал жилистый кулак, сжимавший громадный меч. Усы, лишённые лица, казалось, прилетели из космоса и одиноко висели во тьме.

У ног великанов, у их башмаков, подошв, каблуков кипело многолюдье. Множество возбуждённых мужчин и женщин двигались встречными потоками, описывали круги и эллипсы. На мгновение встречались, обнимались, целовались, озарялись ослепительными улыбками и исчезали, чтобы в другом месте снова оказаться в чьих-нибудь объятьях, обменяться поцелуями и легкомысленными фразами.

Пётр Дмитриевич был захвачен этим броуновским движением, вовлечён в вязкое кружение. Так движется магма, изливаясь из жерла тягучими языками. Запах, который стоял в помещении, был запахом гари, железного тумана, какой витает над кратером. Навстречу ему являлось множество лиц, среди них известные политики, журналисты, телеведущие. Проплыл пожилой, лысый, с белоснежными искусственными зубами телеведущий, бравирующий своим французским и американским гражданством. Приветливо улыбался, зная, что его обожают, что нет ему равных в красноречии и европейском шарме. Промелькнуло узкое, с козлиной бородкой, лицо публициста, который в роковую ночь перед расстрелом мятежного парламента призывал “добить гадину”. Прошла в вечернем платье с голой спиной, двигая лопатками, певица, славная тем, что на одном из концертов разделась донага и спела песню “Священная война”.

У некоторых в руках искрились бокалы с шампанским. Они водили глазами в поисках того, с кем можно чокнуться.

Петру Дмитриевичу казалось, что каждый при виде его выделяет капельку яда, обжигая его. Чувствовал, как тело под одеждой начинает гореть, словно его отстегали крапивой.

Все они были специалистами по истреблению “русских кодов”. Тот весельчак, вызывающе одетый в цвета тропического попугая, занимался осквернением Православия. Другой, жеманный, манерный, похожий на даму, потешался над русскими народными песнями, превозносил рэп. Третий, с радужным бантом, делал восторженные репортажи из Амстердама, где в кирхах совершались однополые браки.

Петру Дмитриевичу начинало казаться, что его окружают загадочные насекомые. У каждого вместо лица — заостренное рыльце с хоботками, зубчиками, буравчиками, напильниками. Они точат, сверлят, надкусывают, подпиливают невидимые столпы и опоры, отчего кругом стоит непрерывный шелест и хруст, какой издают жуки-короеды.

Среди непрерывного вращения, в центре круговорота стоял хозяин торжества, редактор и владелец “Эхос Мундис” Плиний Краснопевцев. Казалось, он управляет силовыми линиями, вдоль которых вращаются людские потоки. Не подпускал к себе обожателей, отталкивая их невидимой силой. Был отделён от толпы колдовским светящимся пространством, делал знаки избранным, кого ненадолго пускал в заколдованный круг. Плиний Краснопевцев был невысок, с огромным лбом, яростно говорящим ртом. Большие зубы не помещались в толстых верблюжьих губах и выступали наружу. Вокруг головы разлеталась седая грива, которую не способен был расчесать ни один гребень. Плиний был одет в красную клетчатую ковбойку, что выделяло его среди сюртуков и вечерних платьев, он казался маткой этого громадного муравейника. Руководил его таинственной деятельностью. Давал каждой особи задание, которое особь беспрекословно исполняла. Удалялась и вновь возвращалась в муравейник, заноса в него мёртвую личинку, хвойную иголку, комочек умершей плоти. Муравейник шелестел, рос. Знатоки библейской истории утверждали, что “Эхос Мундис” — это Третий храм, который возводится в центре Москвы.

— Ба, ба, ба! Пётр Дмитриевич! — Борис Журавлик сиял лучистыми, как лампадки, глазами, колыхал слоистым подбородком. — Словно и не расставались! — Он дружески приобнял Петра Дмитриевича, и тот почувствовал мягкость жирного тела. — Ваше выступление на моей передаче произвело

фурор. Столько звонков! “Кто такой Агеев? Что за “Таблица Агеева”?” Даже из администрации президента звонили.

— Президент не звонил? — Петра Дмитриевича удивило это преувеличенное дружелюбие. Обычно едкий, исполненный тонкой неприязни Борис Журавлик обласкивал Петра Дмитриевича, обклеивал сладкими улыбками, липкими прикосновениями:

— Нет, нет, президент не звонил. Наш президент находится где-то в горах Сибири. Вчера показали по телевизору удивительный сюжет. Президент сидит на горе, на вершине мира. Внизу леса, реки, облака. Он держит в руках найденный гриб и сосновую шишку. Это вам ни о чём не говорит?

— Ни о чём. Обычная прогулка по лесу.

— Ну, как же, Пётр Дмитриевич! А ваши “русские коды”? Вы не усмотрели намёк? Президент показал нам, что в России созрел монархический проект, и нас извещают об этом таким иносказательным образом.

— В чём иносказание?

— Гриб в руке президента — это скипетр, а шишка — держава. Гора — это трон, с которого будущий царь управляет Россией. Он — царь мира, царь грибов. Ведь это извечный “русский код”. Русские — монархический народ! — Борис Журавлик счастливо засмеялся, веря, что эта опасная штука останется между ними, друзьями.

— Позвольте побеждённому склониться перед победителем! — Из толпы появился Эраст Богоносцев, картинно склонился перед Петром Дмитриевичем. Он был в голубом фраке с длинными фалдами. На груди пенилось кружевное жабо. Узкие губы не кривились надменно, а дружески улыбались. Острый нос не казался жестоким клювом, а глаза под чёрными бровями не изливали фиолетовую ненависть. — Мы вчера поспешно расстались, и я не успел сказать, что восхищён вашей способностью владеть зрительным залом. Вы мгновенно превратили зрителей из недругов в обожателей. Вы владеете магическими приёмами. Используете ваши “русские коды”. Я готов поучиться у вас режиссуре, постичь тайну “русских кодов”! — Он протянул Петру Дмитриевичу холёную ладонь, и Пётр Дмитриевич пожал её, почувствовав холод бриллиантового перстня.

Петру Дмитриевичу было лестно слушать похвалу прославленного режиссёра, кумира интеллигенции, который ещё недавно казался лютым врагом, окскервнителем святынь, а теперь был дружелобен и мил, очаровывал искренностью.

— Хочу побывать на ваших спектаклях. Извините за вчерашние резкости. Это был полемический азарт. — Петру Дмитриевичу было неловко за бестактные высказывания, которые вырвались во время вчерашнего единоборства.

— Эраст, отчего ты не знакомишь меня с новой знаменитостью? — Ксения Фалькон, телеведущая, светская львица, крестница президента, неумимая любовница миллиардеров, героиня эротических шоу, во время которых она оголялась, открывая ягодницы, где именитые любовники оставляли свои автографы. “Книга жалоб и предложений”, — шутила Ксения Фалькон, играя ягодницами, приглашая обладателей миллиардов расписаться в “гостевой книге”. — Я смотрела вчера “Культурное побоище” и видела бедненького Эраста, который со своим орлиным клювом выглядел, как жалкий цыплёнок.

— Справедливо, дорогая, меня обработали “русскими кодами”, и я потерял моё оперенье, — благодушно рассмеялся Эраст Богоносцев.

Пётр Дмитриевич почувствовал, как стоящая перед ним Ксения Фалькон взглядом раздела его. От неё пахло духами и парной плотью, как если бы она, благоухающая “Живанши”, стояла за мясным прилавком.

— Господин Богоносцев — достойный соперник, — смутился Пётр Дмитриевич. — Его одолел не я, а Пушкин.

Ксения Фалькон хотела. Её алые влажные губы приближались к губам Петра Дмитриевича. В глубоком вырезе красного платья дрожала грудь, по которой скользила змейка золотой цепочки. У Ксении Фалькон были волосы цвета меди. Тяжёлый лошадиный подбородок говорил о воле

и властолюбии, которыми она покоряла мужчин. Толстый горбатый нос с жарко дышащими ноздрями ещё больше придавал ей сходство с лошадьё. Но, видимо, эта грубая животная плотоядность и близость к президенту делали её столь привлекательной для пресыщенных миллиардеров, многие из которых имели тюркское происхождение и помнили родные степи с табунами неистовых кобылиц. “Лошадьё Пржевальского” назвал Ксению Фалькон злоязыкий блогер, который вскоре после этого исчез из интернета.

— Вам, дорогой господин Агеев, одному из первых сообщаю, что мы с Эрастом Богоносцевым решили пожениться. Приглашаем вас на свадьбу. Мы хотим сыграть нашу свадьбу в русском стиле, с венчанием, каретами, рысаками. Одним словом, нам нужны ваши советы, ваши “русские коды”. Не так ли, Эраст?

— Пётр Дмитриевич обещал проконсультировать меня в моих театральных поисках. Наша свадьба будет спектаклем, который оживит русскую традицию, сделает её вновь привлекательной для мирового зрителя.

Топла расступилась, как расступилось когда-то Чермное море, и посуху, не замочив ног, прошёл Плиний Краснопецев в своей клетчатой ковбойке, с огромным одуванчиком седых волос.

— Рад видеть вас, господин Агеев, в нашем собрании нечестивцев. Кажется, так вы назвали либеральную интеллигенцию в программе своего друга Бориса Журавлика? Я не мог оторваться от телевизора, наблюдая поединок. А вы подкачали, Эраст. Оказались бессильны против “русских кодов”.

Плиний Краснопецев сиял голубыми прозрачными глазами. От него исходил жар, будто под ковбойкой пряталась раскалённая топка. Сквозь прозрачные глаза было видно бушующее синее пламя. Одуванчик волос дрожал от раскалённого ветра, который вырывал из головы Плиния летучие семена, разносил по миру, и они прорастали едкими побегами. Пётр Дмитриевич боялся обжечься об эту жаровню, которую накалял подземный огонь.

— Глядя на мою внешность, господин Агеев, едва ли можно заподозрить меня в славянофильстве. Но я считаю, что русский народ, потерпевший историческое поражение, должен воскреснуть. У русского народа должны появиться свои мудрецы и пророки. Без русского народа не выживет ни один другой народ, в том числе и евреи. Я верю, что открытые вами коды ведут к русскому возрождению. Приглашаю вас в эфир моей радиостанции. Кстати, Пушкин был русский либерал, как и его друг Чадаев. — Произнеся это, Плиний Краснопецев вновь погрузился в толпу, которая расступилась, как библейское море, открывая морское дно. Плиний Краснопецев шёл, и у него под ногами шевелились устрицы, рачки и улитки.

Пётр Дмитриевич продолжал кружение у подножья сумрачных истуканов, повинаясь силовым линиям, которые управляли перемещениями толпы. Каждый из гостей был именной персоной, телезвездой, влиятельным художником или политиком. Но все они, честолюбцы и гордецы, подчинялись невидимой, управлявшей ими власти, которая не имела имени, а безымянно правила ими.

Петру Дмитриевичу было худо. Он не уходил, стараясь понять, сколь долго сможет выдержать пребывание во враждебной среде. Сколь долго земное дерево, высаженное на Марсе, может жить без земной атмосферы.

Ровный шелест ног, звон бокалов, невнятные возгласы создавали вязкий неразборчивый шум. Но Пётр Дмитриевич вдруг почувствовал собой, услышал прилетевший сигнал. Так астрофизик среди неразличимых ропотов вселенной вдруг поймает крохотный импульс, слабый всплеск, исходящий от неизвестной звезды.

Пётр Дмитриевич стал оглядываться, желая отыскать источник сигнала.

Сквозь толпу приближался человек, высокий, темноволосый, с благообразной чёрной бородкой. Приближаясь, он улыбался Петру Дмитриевичу. Что-то знакомое сквозило в гибких движениях, в улыбке, в глазах цвета чёрной смородины, в которых вдруг пролетал медный отсвет.

— Здравствуй, Петрусь. — Человек протянул Петру Дмитриевичу руку. — Неужели я так изменился?

— Боже, Фаддей? Или я ошибаюсь?

— Фаддей Аристархович Лоб явился, чтобы засвидетельствовать любовь и дружбу старому фронтовому товарищу, с кем вместе делили хлеб, пили из одной фляжки и который чуть не угробил меня в Герате, посадив на фугас машину боевого разминирования.

— Боже мой, Фаддей! — Они обнялись. Проскользнувшая мимо дама пьяно им улыбнулась.

— Сколько лет? Тридцать? Больше? — Растроганный Пётр Дмитриевич смотрел на лицо Фаддея, сухое, с тёмной благородной бородкой, стараясь угадать в нём худого вёрткого юнца, с которым пекли лепешки на раскалённой броне, копали лунку, наполняли горячей соляркой и грели тушёнку на крохотном очаге. Ночью выходили из палатки, смотрели на звёзды, Фаддей указывал на звезду, с которой прилетел на землю, чтобы изучить жизнь землян, и где-то в степи звучал одинокий выстрел — караульный случайно разрядил автомат.

— А помнишь Храпенко, которому оторвало ногу? Он держал в руках оторванную ногу, смеялся и умер.

— А помнишь таджика Шарифа, который удавил собаку, сделал собаке рагу, и все ели, нахваливали, а потом он сказал про собаку, и всех чуть не вырвало?

— А помнишь дорогу в Герат с соснами на обочинах? Танк ударил в сону, дерево проломило череп сержанту, а фамилия сержанта была “Соснов”?

— И как же мы тогда в Деванче сели на фугас?

Пётр Дмитриевич вспомнил гончарные лепные дувалы с бойницами, синюю главку мечети и железный удар под днищем, который разорвал перепонки в ушах и глазные сосуды. Они с Фаддеем, оглушённые, сидели, прижавшись друг к другу головами, кровь текла у обоих, и они пачкали один другого кровью.

Пётр Дмитриевич почувствовал, как у него начинают дрожать руки. Взрывная волна, толкнувшая его тело, притаилась где-то в костях и мышцах, и время от времени просыпалась, вызывая дрожание рук.

— В последний раз я видел тебя на Старой площади. Мы с друзьями захватывали здание партии. Я сбивал с фасада золочёную надпись. Помню, ты поднял с земли отлетевшую букву. Кажется, букву “О”?

— “М”. Некоторое время я её хранил, а потом она затерялась.

— Мы хотели с тобой повидаться, но не пришлось. Такое было время безумное.

— Как ты жил эти годы?

Они отошли в сторону, чтобы их не толкали. Остановились у медного каблука на чём-то огромном ботфорте.

— Как я жил? — Фаддей помолчал, словно вспоминал множество случившихся за эти годы событий, выбирая главные. — Сначала крутился здесь, в политической карусели. Потом, благодаря протекции, уехал в Америку, окончил Колумбийский университет. Работал во всяких аналитических центрах, изучавших Россию. Написал работу о “Законе и Благодати” митрополита Илариона. Исследовал тексты Феофана Затворника. Несколько раз приезжал в Россию, чтобы полюбоваться на картину Петрова-Водкина “Купанье красного коня” и на скульптуру Мухиной “Рабочий и колхозница”. Вот где “русские коды”, мечта о земном рае! Искал тебя, но не нашёл. Только в последнее время прочитал несколько твоих работ. Узнал о “Таблице Агеева”. Очень интересно. Был бы рад поговорить с тобой о “Таблице”.

Пётр Дмитриевич испытал странное беспокойство, необъяснимую тревогу, какая возникает, когда солнце вдруг начинает мутнеть, окутывается дымкой, перед ненастьем или затмением. В природе всё замирает, умолкают птицы, стихает ветер, не дрогнет лист, не пролетит бабочка, и душа тоскует в предчувствии горя или напасти.

Пётр Дмитриевич смотрел на Фаддея и не мог остановить дрожанье рук. Кажалось, толпа, кипевшая вокруг, остановилась, замерла, перестала волноваться и шелестеть. Людей словно запаляли в прозрачный куб, и Пётр Дмитриевич видел их остекленелые лица, открытые рты, немигающие глаза. Это длилось мгновенье, потом всё снова пришло в движение, загомонило,

зашелестело. Прошествовал, озираясь страстными ненавидящими глазами, публицист, которого недавно избили казаки за хуление церкви. Мелькнули медная причёска Ксении Фалькон и птичий клюв Эраста Богоносцева. Окружённые почитателями, они приглашали друзей на предстоящую свадьбу.

Постепенно руки Петра Дмитриевича перестали дрожать. Тревога улетучилась. Он был рад нежданной встрече. Давнишний гератский взрыв разбросал его и Фаддея в разные стороны, но, не будь этого взрыва, их встреча не была бы столь сердечна.

— Ты по-прежнему считаешь себя пришельцем из космоса? — усмехнулся Пётр Дмитриевич. — Не собираешься вернуться на космическую родину?

— Угадал, собираюсь. Изучаю “космические коды”. Русский, немецкий.

— И чем же они отличаются?

Пётр Дмитриевич испытал острое любопытство. Фаддей увлекался тем же, чем увлекался Пётр Дмитриевич. Среди незнакомой, чуждой по духу толпы вдруг возник человек, который отгадывает те же загадки, что и Пётр Дмитриевич. Думает о том, о чём большинство не думает, не знает или хочет забыть.

— Чем отличается русский Космос от немецкого?

— Ты же вчера, Петрусь, всё объяснил в своей передаче. Немецкий Космос тёмный, зловещий. Питает “сумрачный германский гений”. Там Валгалла, нибелунги, угрюмый Рейн, его сокровенное золото. Там Зигфрид, валькирии. Там небесная Германия, которая вращает в мироздании свою серебряную свастику. Ты говорил об этом в программе “Культурное побоище”, и лучше не скажешь. Гитлер поручил Вернеру фон Брауну разработать “оружие возмездия”, чтобы разрушить Англию и Америку. Но он хотел, чтобы Вернер фон Браун достиг немецкого Космоса, небесной Германии. Вагнер своей музыкой пробил коридор в тёмный немецкий Космос. Ницше своей философией определил траекторию полёта. Оставалось спроектировать космический корабль. Оставалось запустить немецкий “космический код”. Но они не сумели. Видно, им помешал Пушкин!

Петра Дмитриевича удивила осведомлённость Фаддея. Программа “Культурное побоище” была не столь популярна, но Фаддей посмотрел её. Их сегодняшняя встреча на вечеринке состоялась после тридцати лет разлуки. Но Фаддей не предавался воспоминаниям, а говорил о передаче, которая оказалась важнее для него, чем все воспоминания.

— А в чём же, по-твоему, “русский код”? — спросил Пётр Дмитриевич. Он знал ответ. Русский “космический код” влёк русскую душу в лазурный Космос, где благоухают райские сады, живут бессмертные люди, не ведающие страхов и ненависти, а только любовь. В этот Космос стремились Николай Фёдоров и Эдуард Циолковский, Пушкин и Гумилёв. Золотой наездник на красном коне и два серебряных ангела, воздевшие к небу молот и серп. Королёв строил ракеты, нацеленные на Америку, но его космические корабли стремились в лазурный Космос, в котором любовь, красота, справедливость, где люди обретут бессмертие. Всё это почувствовал однажды Пётр Дмитриевич, когда на Байконуре видел старт ракеты “Энергия” и космического корабля “Буран”.

— Русские люди забыли свой космический код, — произнёс Фаддей. — Может, в “Таблице Агеева” он существует? Открой мне его, Петрусь!

Пётр Дмитриевич не успел ответить.

— А вот и моя ученица! — воскликнул Фаддей, указывая на молодую женщину, которая выбиралась из вязкой толпы.

Женщина приближалась. Её молодое лицо светилось. Волосы, расчёсанные на прямой пробор, в сумерках казались тёмными, но вдруг на них мелькал золотой отлив. Она шла, опустив глаза, по прямой, словно по натянутому канату, словно боялась открыть глаза, чтобы не упасть в пропасть.

И пока она приближалась, Пётр Дмитриевич узнавал в ней вчерашнюю зрительницу, наблюдавшую поединок с Эрастом Богоносцевым. Там, в зале, она казалась измученной, смущённой, нелепо, провинциально одетой. Но потом, когда Пётр Дмитриевич стал читать стихи, преобразилась. Лицо

озарилось красотой, платье заструилось шёлком. Восхищённая, она кинула на подиум красный цветок.

— Познакомьтесь, — произнёс Фаддей, — Пётр Дмитриевич Агеев, которому во сне явилась золотая Богородица, она же Душа России. Ирина Волхонцева, аспирантка, которую, как и тебя, Пётр Дмитриевич, интересуют “русские коды”.

Женщина протянула руку. Пётр Дмитриевич пожал узкую горячую ладонь. Её глаза были серыми, чуть зеленоватыми, брови — светлыми и пушистыми. Петру Дмитриевичу вдруг захотелось подуть на эти брови, чтобы они ещё больше распушились, и тогда она удивлённо отстранится, и её изумлённые глаза волшебным позеленеют.

— Я так хотела, чтобы вы разгромили этого святотатца, — сказала Ирина. — Я молилась за вас. Кинула вам цветок.

— Цветок не долетел, но я знал, что цветок для меня.

— Ваш соперник чувствовал себя победителем, но вдруг вы стали читать “Евгения Онегина”, “Полтаву”. “Медного всадника”. Я видела, как он сник, сморщился, из него пошёл дым. А вы, напротив, посветлели, возвысились, стали блистательным. “И он промчался пред полками, // могуч и яростен, как бой!”

— Победил не я, а Пушкин. Пушкин — русский Победоносец.

— Я пошла на вчерашнее представление, чтобы познакомиться с вами. Но не довелось. Фаддей Аристархович пригласил меня на эту вечеринку, сказал, что вы придёте.

— Ирина хочет узнать, действительно твоя “Таблица” явилась во сне? Как Менделееву?

— Когда-то русским людям снились вещие сны. А потом перестали сниться. Теперь русских людей снова посещают вещие сны, — сказала Ирина. — Я пишу диссертацию об исторических русских энергиях, которые делают русских необоримым народом. Была бы признательна, если бы вы согласились встретиться со мной и побеседовать на эту тему.

— Расскажи Ирине о “русских кодах”. Расскажи о “Таблице Агеева”.

— Конечно, — согласился Пётр Дмитриевич, видя, как по её волосам пробежал золотой отсвет, а глаза на мгновение стали изумрудными. — Вот моя визитка, звоните.

Внезапно толпу кольгнуло. Людская волна плеснула и смыла Фаддея и Ирину. Пётр Дмитриевич был прижат к ботфорту медного великана и видел, как освобождается середина зала.

Люди выстраивались вдоль пустого коридора, начинали аплодировать. В лучах света в зал выкатилась инвалидная коляска. Её толкали двое в чёрных, наглухо застёгнутых пиджаках, похожие на кладбищенских служителей. В коляске, пристёгнутый ремнями, жирно оплывая, свесив бессильно руки, сидел Михаил Сергеевич Горбачёв. На лице, синеватом, со следами тления, кривилась гримаса, похожая на предсмертную улыбку. Рот съехал набок, из него тянулась желтоватая слюна. На голом черепе чернело знакомое пятно, которое разрослось за годы и напоминало фиолетовую ящерицу. Глаза были выпучены и наполнены слезью. Огромный зоб вываливался из рубашки, колыхался, как студень, словно к горлу прилепился громадный моллюск. Ноги закрывал плед, кисти рук были испачканы землёй. Казалось, Горбачёв прошёл эскумацию, был извлечён из могилы.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как по залу распространился трупный запах. Было невозможно дышать, подкатывался рвотный ком. Но все, кто присутствовал в зале, тянулись к коляске, дышали и не могли надыхаться духом сырой могилы, впитывали сладковатые испарения истлевающей плоти.

Плиний Краснопевцев в клетчатой ковбойке приблизился к погребальной колеснице, держа букет роз. Что-то восхищённо говорил Горбачёву. Тот, не мигая, смотрел мимо, кривил рот, пускал желтоватую слюну. Плиний Краснопевцев положил на колени Горбачёву букет роз, осторожно, как кладут цветы в гроб. Все аплодировали.

Пётр Дмитриевич чувствовал приближение рвоты. Руки снова дрожали. Голова гудела от давнишнего взрыва. Ему в грудь летели удары. Множество

крохотных пуль стремились вонзиться в сердце, где хранилась золотая “Таблица”. Сокрушить, раздробить каждый код в отдельности и всю золотую Богородицу целиком. Пётр Дмитриевич отбивался от разящих ударов. Прижимал к сердцу руки, заслоняя его от пуль. Раненое сердце ходило ходуном, скакало, вскрикивало от каждого попадания.

Пётр Дмитриевич протиснулся наружу, на московскую, освещённую огнями улицу. Брёл среди особняков, вдыхая вечерний воздух.

Дома он принял душ, смывая частицы истлевшей плоти. Лёг в постель. Ему чудилась дыра, спиралью уходящая в землю, похожая на угольный карьер. Из центра земли железные ковши извлекли отвратительный труп, выставляли на солнце. Труп разлагался, отекал разноцветной слизью. Из него, разрывая сгнившую кожу, выползали бесчисленные червячки и жуки, расползались по земле.

На кровать запрыгнул кот Кузьмич и свернулся в ногах. Пётр Дмитриевич чувствовал теплую тяжесть кота. Успокаивался. К нему явились блаженные воспоминания детства. Новогодняя ёлка в маленьких мерцающих лампочках. Отец надевает на колочую вершину серебряную звезду.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пётр Дмитриевич делил утреннюю трапезу с котом Кузьмичом. Пил кофе, ел согретый в тостере хлеб с ломтями колбасы или красной рыбы. Кот сидел рядом на табуреточке, страстно взирая золотыми глазами. Следил, как рука Петра Дмитриевича подносит ко рту вожделенную колбасу или рыбу. Лакомство исчезало в жующих губах Петра Дмитриевича. Глаза Кузьмича наполнялись возмущением, укоризной. В них трепетало негодование. Пётр Дмитриевич, устыдившись, клал колбасу на край стола. Кузьмич коготками изящно цеплял лакомство, скидывал на пол и там, подальше от Петра Дмитриевича, поедал.

— Конечно, Кузьмич, я обязан тебе знаниями русской литературы и орфографии, и в знак признательности кормлю тебя сёмгой. Но, ведая тайну переселения душ, почему не расскажешь, каково быть оборотнем? “Русские коды” предполагают способность русского человека в известных обстоятельствах превращаться в волка, в сокола и, как доказывает твой пример, в кота. Так поведай же мне, в каких космических сферах ты обитал, пока я скитался по свету? Не является ли Космос временным прибежищем душ, где они, покинув Землю, ждут своего нового воплощения?

Упоминание о Космосе в беседе с котом было не случайно. Вчерашний разговор с Фаддеем на праздной вечеринке о “космическом коде” волновал Петра Дмитриевича. Он решил посетить Степана Кирилловича Богданова, того счастливого победителя, кого в день пуска “Энергии” и “Бурана” подбрасывали к небу восхищённые соратники.

В далёком прошлом Богданов был могучим партийцем и министром, который управлял космическим проектом “Энергия — Буран”. Один из последних советских правителей, кто пытался отстранить Горбачёва, остановить крушение “красной страны”.

Страна не устояла. Великий космический проект пал. Богданов очутился в тюрьме. Вышел и оказался в пустоте, где больше не было его министерства, не было страны. Отрешённый от дел, всеми забытый, он старился, чахнул, болел. Это был последний живой отросток огромного засохшего дерева.

Его торопила повидать Пётр Дмитриевич, который, изучая “русские коды”, уверовал в космическое происхождение русского народа.

Богданов жил в подмосковном доме, сохранившем с советских времён свою строгую деревянную архитектуру. Дом ветшал, рассыхался. Стены облысели и местами покрылись мхом. Было видно, что в нём живёт одинокий старик, не способный вбить гвоздь, подмести веранду, усыпанную жёлтыми сосновыми иглами.

Кругом на обширном участке росли сосны. Земля была усеяна шишками, но их не собирали, не разводили самовар, не пахло чудесным самоварным

дымком. Вокруг деревянного дома на соседних участках теснились роскошные особняки и дворцы. Казалось, эти дворцы надменно возвышаются над углым жилищем, унижают его своим великолепием.

Тут был дворец с мраморными колонами, белыми львами, геральдикой на фронтоне, как если бы здесь жил потомок древнего рода. Однако владельцем усадьбы был бакинец, хозяин торговой сети.

Во дворце, напоминавшем буддийскую пагоду с золочёной крышей, обитал работник коммунального хозяйства, который обладал таким богатством, что его стерегли овчарки и автоматчики.

Тут же возвышался средневековый замок, подобный тем, что встречаются в долине Рейна, с готическими арками, стрельчатой кровлей, разноцветными витражами. Здесь проживал генерал таможни. Он редко появлялся в Подмоскowie, потому что подобный же замок построил под Петербургом. Оба замка строились по его рисункам, которые он делал с натуры, плавая на яхте по Рейну.

Пётр Дмитриевич и Богданов сидели на открытой веранде, за столом, где были небрежно рассыпаны бумаги, стояла хлебница с несвежей булкой. В чашке с недопитым чаем торчала ложка.

— Угостить вас нечем, — извинялся Богданов. — Чайник сгорел. Заварка куда-то делась. Дочка придет, всё наладит. Понимаете, я ничего не вижу. Всё куда-то девается. — Богданов тоскливо улыбался. На нём была домашняя блуза. Одной пуговицы не хватало, другая висела на нитке. Он был сух, сгорблен, с костлявыми скрипучими руками. Лицо тёмное, в печальных складках. В них держалась мутная гарь. Он походил на дерево, обугленное пожаром, который обжёт ствол, спалил живые ветки, оставил неровные трещины, полные золы. Сквозь очки смотрели голубые, с размытыми зрачками глаза. Он водил глазами по столу, хлопал корявой, с негнуцимися пальцами пятернёй:

— Куда же я её задевал? Только что здесь была.

Из оправы очков выпало стекло. Со звяком упало на пол. Богданов охнул, бессильно сник. Пётр Дмитриевич нагнулся, искал стекло. Видел тощие, вставленные в шлёпанцы ноги Богданова, приспущенные носки. Отыскал стекло, поместил в оправу очков.

— Представляете, только вставлю, опять выпадает, — жаловался Богданов Петру Дмитриевичу. Блёклые голубые глаза, увеличенные очками, наполнились слезами.

Пётр Дмитриевич хотел угадать в этом слабом старике того восхищённого победителя, которого множество могучих рук подбрасывали и ловили. На это смотрел прилетевший из Космоса белоснежный дельфин, окружённый стеклянным светом. В небе, откуда спустился “Буран”, оставалось сияющее окно, и казалось, в это окно стремился улететь восхищённый человек.

— Так что вы хотели? Почему интересуетесь Космосом? — Богданов шарил по столу костлявыми пальцами, словно что-то хотел нащупать. — Я ведь уже никто. Меня давно отстранили.

— Я служил на Байконуре водителем тягача. Видел, как уходила в Космос “Энергия”, как садился “Буран”. Видел вас в окружении генералов, конструкторов. Когда все ушли с посадочной полосы, я взял на буксир “Буран” и отвёз его в ангар. Я подошёл к “Бурану” и коснулся его. Погладил белые, покрывавшие его чешуйки. “Буран” был ещё тёплый, нагретый. От него исходил запах тёплого хлеба. Будто его испекли в космической пекарне. Вот эта рука, — Пётр Дмитриевич показал Богданову ладонь, — эта рука касалась “Бурана”. Мне кажется, я тоже побывал в Космосе, — Пётр Дмитриевич смотрел на свою ладонь, которая спустя тридцать лет помнила волшебное прикосновение.

— Вы видели запуск “Энергии”? Касались “Бурана”? — Богданов схватил руку Петра Дмитриевича, сжал и не отпускал. Будто эту руку протянули ему во спасение. Эта рука соединяла его с великим исчезающим временем, когда и он был велик и счастлив. — Вы слышали гром, летящий по небу, так что валило с ног? Видели свет, озаривший степь, так что на секунду глаза ослепли? А вы правы, “Буран” действительно пахнул хлебом. Он прилетел из

небесной пекарни, где пекут хлеб не земной, а небесный. Мы тогда понимали, что не только хлебом земным сыт человек!

Холодные пальцы Богданова, сжимавшие ладонь Петра Дмитриевича, становились теплее. Пётр Дмитриевич переливал Богданову своё живое тепло. Не позволял остыть. Рука Петра Дмитриевича соединяла Богданова с Космосом.

— Это было великое время! На “Буран” и “Энергию” работали тысячи заводов, тысячи лабораторий и институтов. Эта работа сводилась воедино по дням, по часам, по минутам. Metallурги создавали небывалые сплавы. Появлялась неслыханная электроника. Изобреталось невиданное топливо. Строились двигатели чудовищной мощности. Конструировались сопла, изрывающие плазму. Рождались тугоплавкие материалы, выдерживающие солнечный жар. Там работали гении, понимаете? Только гении! Каждый крохотный узел, каждый сварочный шов или заклёпка были гениальным открытием, научной диссертацией. И всё это жило, двигалось, сходилась в фокус, приближало старт. “Энергию” и “Буран” делала вся страна. Крохотная деревенька с сельской школой, нанайское стойбище в дельте Амура и, конечно, заводы-гиганты. Все любили друг друга, слышали друг друга. В братской работе сошлись русские, украинцы, эстонцы. Весь народ стремился в Космос, весь народ поднялся в небо, когда взлетел “Буран”! — морщины на лице Богданова расправились. В них исчез серый пепел, на щеках появился слабый румянец. — Какие были люди! Академики, профессора, генералы! Инженеры, способные сделать всё, что не противоречит законам физики! Рабочие с воображением художников! Это были великаны, скажу я вам! Народ-великан устремился в Космос! — Богданов расправил плечи, стал шире, крупнее. Был одним из тех великанов.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как окрепло рукопожатие Богданова, как моложе и звонче стал голос.

— Мы хотели лететь на Луну и на Марс. Были готовы космонавты, богатыри! Архитекторы проектировали марсианские и лунные города. Давали названия площадям и проспектам. Пушкин, Гагарин, Александр Матросов, Циолковский! Ботаники подбирали травы, злаки, деревья, которые должны были “надыхать” атмосферу Луны и Марса. Горняки строили оборудование для добычи гелия и редкоземельных металлов. Был создан гигантский марсианский телескоп, раздвигающий горизонты Вселенной. Военные собирались создать лунные и марсианские базы, перед которыми меркли американцы, их “стратегическая оборонная инициатива”. Ни одна американская ракета не посмела бы взлететь без разрешения из Кремля, ни одна! Но в Космос мы летели не за гелием, не ради орбитальных группировок и дальнобойных лазеров. Вы понимаете, мы летели за другим! — Богданов смахнул очки. Его глаза, ярко-голубые, сияли, словно он узрел нечто чудесное. — Мы летели в Космос за великой правдой, за великим знанием о чудесной жизни, в которой нет низменного, порочного, смертного. Мы летели в Космос за чудом, о котором мечтал русский народ, создавая своё космическое советское государство. Мы летели в Космос на Родину, которую когда-то покинули и теперь возвращались обратно, — восторг Богданова, как жаркая волна, переплеснулся в Петра Дмитриевича.

— Как вы правы, Степан Кириллович! Русский народ — космический! Русская история — космическая! Пушкин — космический! Жуков — космический! Победа — космическая! Советский союз — гигантская ракета, летящая в Космос, искупающая все жертвы, все непосильные труды, все горести!

— Но всего этого не случилось! — Богданов вскрикнул, словно его подстрелили. Отпустил руку Петра Дмитриевича. Костлявые пальцы со стуком ударились о стол. — Космос нас не пустил. Всё это сдуло жутким ветром!

Пётр Дмитриевич вспомнил казахстанскую степь, железный ветер, который гнал по степи колючие комья. Они летели, как бессчётные души бесмысленно и безвестно погибших. Колючий ворох, пролетая, зацепился за кочку, дрожал на ветру, похожий на отрубленную голову с растрепанными волосами. Ворох сорвало и умчало. Он сгинул навеки среди остывшей Вселенной.

— Нас не пустили в Космос. Советский Союз разгромили, чтобы мы не вырвались в Космос. Советский Союз пилили на части, как на части пилили “Энергию”. Разрушали, как разрушали “Буран”. Все тысячи заводов были закрыты и разграблены. Все тысячи лабораторий и институтов были остановлены, и они опустели. Секретные чертежи самолётами вывозили в Америку. Профессора, инженеры торговали китайскими куклами. Великие заводы, где строили космические корабли, стали выпускать канцелярские скрепки. Экипажи космонавтов пошли работать таксистами. “Буран”, тот самый, что побывал в Космосе, был выставлен напоказ, и в нём устроили общественную уборную. Так казнили нашу космическую мечту! — Богданов задохнулся, заклокотал горлом, словно там скопились рыдания. — Дольше всех держались ботаники. Он берегли теплицы с саженцами для лунных и марсианских лесов. Когда пришли разорять теплицы, чтобы на их месте построить торговый центр, ботаники унесли с собой кусты и деревья и посадили на своих домашних участках. А позже высадили их в парке “Зарядье”. Я ходил туда, чтобы вдохнуть глоток марсианского воздуха.

Богданов сник. Глаза наполнились мутой. Виски провалились. Морщины засыпала пыль.

— Но почему вы, обладая всей государственной властью, контролируя армию, разведку, милицию, почему вы допустили распад государства? — Пётр Дмитриевич хотел причинить Богданову боль, чтобы эта боль не дала ему умереть. — Почему позволили двум предателям разрушить космическую страну? Распилить “Буран” и “Энергию”? У вас не нашлось ни одной снайперской винтовки? — Пётр Дмитриевич вспомнил давнишний август и ужасную ночь, когда на площади клубилась толпа, в железной петле качался памятник, и в здании госбезопасности вдруг зажглись окна, словно там шёл праздничный бал. — Хватило бы одной только пули, и сегодня мы бы жили в Советском Союзе!

Богданов понуро сидел. Его синие губы чуть слышно шептали:

— Я во всем виноват. Я ошибался. Мы стремились в “лазурный Космос”, в Космос сверкающих звёзд. И забыли, что есть “чёрный Космос”. Мы попали в “чёрную дыру”, из которой нет выхода. Я это понял в тюрьме. Понял, что во всём виноват. Я ввёл в гироскоп “Бурана” неверные координаты, и он влетел в “чёрную дыру”. В тюрьме я разорвал простыню и сделал петлю. Я не мог больше жить. Я задохнулся в петле, узел давил на артерию. Но надзиратели вынули меня из петли. И вот теперь я живу. Зачем? Зачем мне жить? — Богданов продолжал лепетать, но его не было слышно. Он умирал.

Пётр Дмитриевич видел, как он оседает в кресле, как валится набок его голова.

— Нельзя, Степан Кириллович! Не позволю! — Пётр Дмитриевич схватил Богданова за руку, сжимал, тянул на себя. Он чувствовал, как Богданова затягивает чёрная пропасть. Засасывает непроглядная топь. Не пускал Богданова. Не давал ему утонуть. — Нельзя, Степан Кириллович! Держитесь! Вам нельзя утонуть! Вы светоч, мечтатель! Вы живы, и жива мечта!

Богданов погружался в топь. В “чёрную дыру” утягивала его непомерная сила, которой невозможно противостоять. Эта сила утягивала вместе с Богдановым Петра Дмитриевича. Он чувствовал ужас неотвратимого погружения, действие беспощадных неумолимых законов, по которым “чёрный Космос” сжирает лазурь, гасит звёзды, уносит с земли леса и озера, любовь и память, божественную Мечту и бескорыстное творчество. Заглатывает мирозданье.

— Вы, Степан Кириллович, великий, непревзойдённый! Вы хранитель космической мечты! Мечта вернётся! “Буран” вернётся! Мы полетим с вами в Космос! — Пётр Дмитриевич тянул Богданова за руку. Слышал, как в запястьях хрустят сухожилия, как лопаются сосуды в глазах. Они с Богдановым, взвись за руки, как космонавты, куврыкались в открытом Космосе перед “чёрной дырой”. Их затягивал чёрный зев. В них дул железный ветер, тот самый, что нёс по степи комья сухих колючек, прах исчезнувших цивилизаций, пепел сгоревших книг, души забытых героев. — Мы полетим с вами

в Космос, Степан Кириллович! Туда, где ясновидец Гумилёв увидел Млечный Путь, расцветший неожиданно садом ослепительных планет! Куда мчался красный конь Петрова-Водкина! Куда воздела руки алая Берегиня на старинных русских вышивках! И золотая Богородица на софийской мозаике!

— Я хочу в Космос. — Голос Богданова был едва слышен. Он цеплялся за Петра Дмитриевича. Они оба задержались на незримой черте, разделявшей два Космоса, “лазурный” и “чёрный”. — Хочу на Байконур. Хочу на корабль. Пусть меня возьмут. В детстве ночью мама выносила меня в сад, клала в коляску, и я смотрел на звёзды. Я помню звёздное небо, планеты, созвездия. Младенцем я стремился в Космос. Туда, к этим звёздам, я стремился всю мою жизнь. В Космосе прекрасно! Вы знаете, как там прекрасно! Там одна красота, одна любовь. Там никто не умирает. Там мама, наша деревянная хлебница, мои детские рисунки. Там Советский Союз. Его хотели разгромить на земле, а он улетел в Космос, и там сияет во всей красоте и могуществе. Улечу в Советский Союз. Там Сталин, парад Победы, Жуков, Королёв, Гагарин! Вместе с тобой полетим!

У Петра Дмитриевича иссякали силы. Чудовищная бездонная яма заглатывала обоих. И уже не упоая на собственные силы, Пётр Дмитриевич растворил сердце, где хранилась бесценная “Таблица”, и оттуда хлынул свет. Полюхнули стоцветные вспышки, загорелись небесные радуги, расцвели небывалые цветы, закружились хороводы светил, в волшебном танце плыли планеты и луны. И там, где царила крошечная тьма, теперь сияла лазурь.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как удаляется “чёрная дыра”, стихает железный ветер. Они летели с Богдановым в лазурном Космосе, и Петру Дмитриевичу казалось, что он уже был однажды среди несравненных красот. Мчался на лыжах по сверкающему снежному полю с вихрями прозрачных метелей. Влетал в лесные синие тени. Видел дося, окружённого сиреневым паром. В этих космических даях стояла изба, и тётя Поля сидела у окна, раскладывала на клеёнке королей и валетов. К ночи, когда от мороза потрескивал старый забор, тётя Поля вносила в избу петуха и кур, спускала в погреб. В центре земли кричал петух с огненным гребнем и синими перьями. Там, в Космосе, среди вечной весны гремели овраги и цвели придорожные ивы. Плыл по реке туманный огонь, женщина целовала его душистыми губами. Когда вышел в сумерках из душевой избы, латунная заря отражалась в реке, пахло черёмухой, и по всей округе страстно пели соловьи.

Пётр Дмитриевич и Богданов, два очарованных космонавта, облетев вселенную, вернулись на землю. Сидели за столом на деревянной веранде. Улыбались друг другу.

— Спасибо, Степан Кириллович, что приняли меня. Мне пора.

— Провожу вас.

Они спустились с веранды. Шли под соснами. На одной сосне виднелось дупло. Богданов остановился, огляделся вокруг, прошептал на ухо Петру Дмитриевичу:

— Видите это дупло? В него я спрятал чертежи “Энергии” и “Бурана”. Там все расчёты. Когда настанет время, мы достанем чертежи и построим “Буран”. Пусть об этом никто не знает. Опустите руку в дупло, и вы нащупаете этот клад.

Пётр Дмитриевич подошёл к сосне, опустил руку в дупло, но оно было полно древесного сора.

— Ну как, убедились? — спросил Богданов.

— Да, там лежат чертежи, — ответил Пётр Дмитриевич, видя, как счастливо озарилось лицо Богданова.

Под другой сосной на открытом воздухе стояла кровать с мятым одеялом.

— Я здесь сплю. Смотрю на звёзды. Хочу улететь в Космос.

Пётр Дмитриевич возвращался домой. Навстречу, пылая фарами, мчались автомобили. Сановники, торговцы, банкиры возвращались в свои мраморные дворцы и золочёные пагоды. Где-то под соснами худой старик ложился на деревянную кровать, чтобы смотреть на звёзды.

Космическая мечта была спасена. Тайственный код, увлекающий русскую душу в беспредельные дали, где немеркнущая красота, неиссякаемая

любовь и бессмертие, — этот код был найден Петром Дмитриевичем и пополнил “Таблицу Агеева”. Ещё одна драгоценная крупица легла в золочёный лик Богородицы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Кот Кузьмич имел обыкновение проводить дни за пределами дома, вступая в отношения с соседскими котами и кошками, а также предаваясь охоте на трясогузок. Милые птички слетали с ветвей на тропинку, скакали, подёргивая хвостиками, и нередко становились добычей Кузьмича. Полосатыми боками кот слизался с травой, подстерегал беспечную птицу, от которой, в конце концов, оставался крохотный ворох перьев.

К ночи Кузьмич возвращался домой, усаживался у двери, поджидая Петра Дмитриевича, раздражённо мяукал, требуя, чтобы ему отворили дверь.

Но иногда прогулки Кузьмича затягивались, и он возвращался под утро. Вспрыгивал на оконный карниз. Смотрел сквозь стекло страстными золотыми глазами, возмущаясь Петром Дмитриевичем, который делал вид, что не замечает кота, преспокойно попивал кофе. Наконец, Петр Дмитриевич приоткрывал окно, Кузьмич протискался в щель длинным телом, спрыгивал с подоконника на пол. Вытягивал передние лапы, выгибал спину, совершая своё особенное гимнастическое упражнение. Развязно играя бедрами, удалялся в комнаты, не обращая внимания на Петра Дмитриевича. Тот тщетно его окликал, манил кусочками колбасы или красной рыбы. Но Кузьмич не отзывался. Дремал на диване, лишь изредка вскидывал голову, брызгая золотыми глазами.

Пётр Дмитриевич был зависим от Кузьмича. Так случилось, что кот стал хранителем воспоминаний обо всех событиях, что случались в жизни Петра Дмитриевича. Даже о тех, о которых сам Пётр Дмитриевич едва помнил или забыл. Пётр Дмитриевич передал Кузьмичу ключи от драгоценного хранилища, где содержались свидетельства самых ранних, младенческих переживаний Петра Дмитриевича, вплоть до недавних, случившихся накануне. Пётр Дмитриевич поручил коту этот бесценный архив, заглянув однажды в солнечные глаза Кузьмича. Медленно, как переливают мёд из одной бакалги в другую, перелил в эти глаза все свои воспоминания. Кот стал владельцем уникальных свидетельств, но не злоупотреблял своим положением. Продолжал ловить трясогузок.

Помимо воспоминаний детства, памяти о первой любви, о взрыве фугаса в гератском проулке, о бойне на московских площадях, Пётр Дмитриевич передал Кузьмичу драгоценную таблицу “русских кодов”, “Таблицу Агеева”, после чего кот стал обладателем великой тайны, через которую случится преобразование России, к народу возвратится Мечта.

Зазвонил телефон. Пётр Дмитриевич смотрел, как трепещет выброшенная на берег мерцающая рыбка. Не брал телефон. По другую сторону нежного настойчивого звука таилась неведомая новость, которая стремилась вторгнуться в его жизни и произвести в ней перемены. Быть может, малые, как удар дождевой капли, или чудовищные, как крушение самолёта, того, что унёс жизни матери и отца.

Пётр Дмитриевич взял телефон.

— Пётр Дмитриевич, извините ради Бога. Это беспокоит вас Ирина Волхонцева.

— Кто, простите?

— Ирина Волхонцева. Вы помните, мы недавно встречались. Вы дали свой телефон, сказали, что я могу позвонить.

— Да, да, я помню, — неуверенно ответил Пётр Дмитриевич, стараясь вспомнить, где могла произойти их встреча и отчего он дал телефон. Вначале возникли медные ботфорты истукана, чья голова пропала в сумраке. Рокот, шелест толпы, из которой вдруг возник его фронтовой друг Фаддеем Аристархович Лоб с аристократической тёмной бородкой. И следом женщина, которая приближалась, опустив глаза, словно боялась соскользнуть с каната.

Её серые, с зеленоватым отливом глаза. Тёмные, с золотистым отблеском волосы, расчёсанные на прямой пробор. Пушистые брови, на которые Петру Дмитриевичу вдруг захотелось дунуть...

— Ну конечно, я вас узнал! Вы аспирантка, и вас интересуют “русские коды”.

— Мне хочется с вами встретиться, задать несколько вопросов. Фаддей Аристархович сказал, что вы сможете мне помочь.

— Конечно, мы выберем время.

— Я должна сдавать реферат. Мне так нужна ваша помощь.

Пётр Дмитриевич не хотел встречаться. У него были другие заботы. Он наметил серию визитов, которые помогут ему обнаружить недостающие в “Таблице” “русские коды”. Собираясь отказать малознакомой аспирантке, он вдруг вспомнил, что Богданов во время недавней встречи сообщил, что в парке “Зарядье” были высажены растения, предназначенные для марсианских лесов. Там особенный воздух, и если им надышаться, то ощутишь невесомость. Пётр Дмитриевич хотел посетить “Зарядье”, и теперь для этого представился случай.

— Что ж, если у вас есть время, приезжайте сегодня в парк “Зарядье”. Пообедаем и побеседуем.

— Приеду. Я вам так благодарна.

Кот Кузьмич недовольно раскрыл медовые глаза и вновь погрузился в сон.

Пётр Дмитриевич оставил автомобиль на стоянке. Шёл по набережной Москва-реки, глядя на речные трамвайчики. Каждый проносил по реке разноцветный ворох пассажиров, окружённых громогласной музыкой. Музыка гасла по мере того, как кораблик удалялся к розовому Кремлю или в противоположную сторону, к сталинской высотке.

Парк “Зарядье” размещался на искусственном насыпном холме, где прежде находилась гостиница “Россия”, пример пуританской хрущёвской архитектуры, несовместимой с аристократическими претензиями новых времён.

Пётр Дмитриевич вошёл в парк, но не стал углубляться, а направился к ресторану, где занял столик лицом к реке и стал поджидать аспирантку. Посетителей в ресторане было немного, но все они, как показалось Петру Дмитриевичу, были чем-то взволнованы. Заставляли обращать на себя внимание. Две женщины сидели за столиком и о чём-то беседовали. Внезапно прерывали беседу, поднимались и начинали раскачиваться, как если бы они были водоросли, колеблемые течением. Вновь опускались на стулья, продолжали беседу.

За соседним столиком два молодых человека шумно смеялись, что-то праздновали. Поднялись, держа бокалы, желая чокнуться, но промахнулись. Бокалы прошли мимо. Весельчаки ещё раз попытались сдвинуть бокалы, и опять бокалы не нашли друг друга. Молодые люди расхохотались, сели и выпили, не чокаясь.

Рядом обедала семья. Видный мужчина, милая женщина, маленький мальчик и младенец, который лежал на стуле, закутанный в свёрток. Младенец стал попискивать. Мать взяла его на руки, скинула с себя лёгкую блузку, обнажила полные млечные груди. Поднесла младенца и кормила, голая по пояс. Молодые парни, перестав смеяться, уставились на большие сочные груди.

Официант, кудрявый брюнет, принёс меню. Улыбался, тихо ухмылялся. Его что-то веселило. Не то, что находилось вокруг, а что было в нём самом, что-то легкомысленное и приятное.

Пётр Дмитриевич читал меню. Блюда показались ему несколько странными. Холодная камбала с мёдом и семенами липы. Бульон из кальмаров с куриными лапками и молодыми желудями. Стейк, посыпанный осиными крылышками, сдобренный белками оленьих глаз.

— Я никогда не пробовал этих блюд, — изумился Пётр Дмитриевич. — Это какая-то особая кухня?

— Это кухня “Зарядье”, — тихо засмеялся официант. — Её избрёл наш повар. Он был обычный парень, но у нас в ресторане стал творцом. К нам пообедать приходят послы. Повара собирается перекусить английская королева. Ей понравились жуки-плавунцы, пойманные в Чистых прудах.

— Интересное у вас заведение. И посетители интересные. — Пётр Дмитриевич указал на гологрудую женщину и на молодых парней, которые тщетно пытались чокнуться.

— Вчера к нам привезли человека в инвалидной коляске. Он отведал хвостиков ящериц с лепестками нераспустившихся роз. Встал с коляски и пошёл. А на прошлой неделе пришёл посетитель, который заказал бруснику, найденную в желудке убитого тетерева. Отведал, вскочил и стал кричать: “Я убил! Позовите полицию!” Он оказался убийцей, объявленным в розыск. А вы что хотели бы отведать?

— Пока ничего, — осторожно отказался Пётр Дмитриевич. — Только вино, надеюсь, из винограда, а не из тресковой печени.

Он увидел, как приближается женщина, которой он назначил встречу. “Кажется, Ирина Волхонцева”, — вспомнил он имя. Женщина шла, закрыв глаза, по прямой, как по канату, под которым темнеет пропасть. Так ходят во сне лунатики. Пётр Дмитриевич испугался, что вдруг она откроет глаза, проснётся и сорвётся в пропасть.

Она подошла, подняла лицо. Посмотрела на Петра Дмитриевича сияющими серыми глазами, которые на мгновение стали зелёными. Петру Дмитриевичу вдруг захотелось дунуть на её пушистые брови, чтобы они распушились ещё больше.

— Я немного опоздала, простите. Я отнимаю у вас время. — Ирина протянула Петру Дмитриевичу руку, и тот, пожимая узкую ладонь, вспомнил пожатие хрупких пальцев там, на вечеринке, когда её внезапно выплеснула толпа, а потом толпа отхлынула, и они остались вдвоём среди гигантских статуй, какие высекали в горах исчезнувшие огнепоклонники.

— Вы знакомая моего друга Фаддея. Я вам не мог отказать. — Пётр Дмитриевич усадил Ирину, заглядывая в карту. — Что мы закажем? Здешний повар — колдун. В каждое блюдо он добавляет снадобье, от которого люди на время сходят с ума. Одни начинают летать, другие разговаривают на языках умерших народов, третьи переживают вселенскую любовь.

— Я уже летаю, летела к вам, как на крыльях. Я исследую “русские коды”, утратив которые наш народ умер. А вселенскую любовь я испытала в первые секунды нашего знакомства. — Ирина засмеялась.

Петру Дмитриевичу, который неохотно шёл на свидание, тяготился встречей с неизвестным человеком, стала интересна эта молодая женщина, настоявшая на свидании.

— Тогда просто вино, — сказал он.

Они пили вино, брали с блюда тонкие ломтики сыра. Сквозь окно виднелась река. Плыли кораблики с ворохами разноцветной толпы, но музыки не было слышно. Пётр Дмитриевич, заслоняясь бокалом, осторожно поглядывал на Ирину, стараясь угадать, сколь откровенен он может с ней быть, в чём её тайный умысел.

— На вечеринке я ничего не успела вам сказать. Меня подхватила толпа и куда-то унесла. Меня в одну, вас в другую сторону. Мне вдруг стало душно. Показалось, что сейчас кого-то убьют.

— Там было много убийц. Один убивал веру в Победу. Другой осквернял алтари. Третий портил русский язык. Четвёртый хулил русскую историю. Я ушёл, хватаясь за стену, когда на боевой колеснице появился главный палач. На его голове шевелила цепкими лапками фиолетовая ящерица.

— Да, это было ужасно! — воскликнула Ирина.

Пётр Дмитриевич убедился, что собеседница сотворена из той же плоти, что и он. Её кровяные тельца разрушаются, попадая в ядовитое излучение. Она содрогнулась, видя, как в царской колеснице появился убийца сокровенных святынь.

— Я собиралась сказать, как я вам благодарна. На том ужасном представлении у Бориса Журавлика мне казалось, что меня казнят. Богоносцев

пытал меня, причинял страшную боль, губил во мне самое драгоценное. Губил стихи, которые я читала на школьных вечерах. Губил цветы, которые мама в детстве ставила в вазочке у моей кровати. Губил ту чудесную церквушку в переулке, посыпанную снегом, у которой я любила гулять. Губил русскую песню, которую мы разучивали в хоре. Я умирала, и все вокруг умирали. И никто не мог защитить колокольчики и ромашки в маминой вазочке, песню о тройке, которая мчится по Волге-матушке зимой. Никто не мог защитить моего прадедушку в гимнастёрке с медалями, который погиб под Берлином. И вдруг вы, ваш голос, ваши глаза, ваши необычайные слова! Вы спасли меня. Спасли всех, кто умерал в этом зале. Поэтому я и кинула вам красный цветок.

Она протянула к Петру Дмитриевичу руку, словно хотела благодарно его коснуться. Но испугалась, виновато отдернула руку. Петра Дмитриевича взволновало это признание. Он видел, как сияют её серые глаза, переливаясь изумрудом.

— Я тоже умерал. Этот колдун превратил меня в каменный столп. Но вдруг кто-то тронул меня перстом, вот сюда. — Пётр Дмитриевич коснулся шеи, где билась потаенная жилка. — Быть может, Пушкин пришёл мне на помощь.

— Вы декламировали оду “Вольность”, “Сказку о золотом петушке”, “Сон Татьяны”, “Клеветникам России”. А потом нараспев, будто сказитель, стали вспоминать, как видели всплывавшего в Охотском море кита. Как марийские волхвы поклонялись священному дереву, и на это дерево слетелись дятлы, совы, синицы, ястребы, дрозды, крохотные трасогузки. Рассказали о девушке, которая в юности подарила вам бусы. Эти синие бусины вы разбросали по всей земле, а потом стали их собирать, и это были “русские коды”, которые сложились в дивное ожерелье. Вы говорили о каком-то восточном городе с изразцовыми мечетями, мимо которых шли танки, и горы в вечернем солнце становились синими, красными, золотыми, и на ваш автомат вдруг села большая стрекоза со слюдяными крыльями. Какой-то волшебный огонь плыл по вечерней реке, и женщина на прощанье протягивала вам розовую мальву, обещала новую встречу.

— Неужели я это всё рассказал? — Пётр Дмитриевич не помнил ничего из того, о чём говорила Ирина.

По Москва-реке за окном плыл корабль, белоснежный, с зеркальной рубкой. Над ним развевалась малиновая хоругвь, на которой сиял златовласый Спас. Корабль плыл медленно, будто хотел, чтобы Пётр Дмитриевич его запомнил. А ему казалось, что этот корабль — мираж, и сидящая перед ним женщина — тоже мираж, и её пушистые брови, и серые, с зеленью глаза, и влажные от вина губы, и близкие волосы, которые можно погладить, — всё это мираж, наваждение. И оно сейчас расплывётся, растает, как изображение на горящей бумаге.

Это было тихое помешательство, которое испытывал всякий, кто оказывался в парке с марсианскими деревьями.

— Я что-то хотел спросить. — Пётр Дмитриевич провёл перед глазами рукой, устраняя виденье. — Вы сказали, что пели в хоре народные песни?

— Я разучивала народные песни. Когда их пела, казалось, что мне открываются потаённые сущности, те, что вы называете “русскими кодами”.

Петру Дмитриевичу почудилось, что где-то высоко запел печальный восхитительный голос. Пел про дальнюю дорогу, про милого, который уехал, про вдовью долю весь век горевать и печалиться.

— А вы как обрываете эти волшебные коды? — спросила Ирина.

Пётр Дмитриевич сомневался, следует ли открывать едва знакомому человеку потаённые знания, плод чудесного ясновидения. Но так искренне звучал её голос, так сияли её глаза, так странно и сладко дышалось воздухом марсианских лесов, что Пётр Дмитриевич решил не таить от Ирины свои сокровенные открытия.

— Я путешествовал по Брянщине, по деревням, маленьким городам, по холмам, где когда-то стояли монастыри и палаты, а теперь пестрели полевые цветы. Я искал то место, где родился святой монах Пересвет. Его послал

Преподобный Сергей на Куликово поле биться с татарами. Соперником Пересвета был татарский богатырь Челубей. Копьё Челубея было длинней и тяжелей копья Пересвета. Он убивал соперников прежде, чем те успевали дотянуться своими копьями. Пересвет снял с себя монашескую рясу, кольчугу, голый по пояс вскочил на коня и понёсся навстречу сопернику. Он подставил грудь под копьё Челубея, насадил себя на копьё и тем самым приблизился к врагу. Уже мёртвый, с пробитым сердцем, дотянулся он копьём до татарина и убил его. Тем самым предрешил победу русских на Куликовом поле. Я искал то место, где когда-то появился на свет святой монах. Но оно не было отмечено в летописях, не значилось на картах. Я чувствовал, что оно где-то рядом, то ли на этом холме, то ли дальше. Вдыхал воздух, надеясь уловить запах дыма, признаки исчезнувшего жилища. Но пахло сладким ветром и полевыми цветами. Я прикладывал ухо к земле, не раздастся ли топот копыт. Но шелестели травы, трещали кузнечики, и в синей далёкой туче перекачивался гром. Я смотрел в небо, не будет ли мне знака, ни сверкнёт ли луч, как перст Божий, указывая на заветное место. Но в небе кружил ястреб, и стояла высокая синяя туча. И вдруг я услышал зов, не звук, а влечение. Будто кто-то указал мне на далёкий холм, к которому я должен идти. Я шёл через поле, распутивая серебристых птиц. Перебрёл мелкую речку с брызнувшими мальками. Спустился в овраг, где меня обожгла крапива. Вышел к холму. Холм был высокий, в красных цветах, над которыми летали маленькие голубые бабочки. Вершина холма была плоской, срезанной. Дул ветер, красные цветочки дрожали, бабочек сносило в сторону. Я вдруг понял, что здесь, на этом месте, родился Пересвет. Так дул ветер, так дрожали цветы, так блестела далёкая речка, так белела просёлочная дорога, и так из-за синей тучи падал луч. Я лёг на вершине холма. Земля была тёплая, в меня из тёплой земли потекли волшебные силы. Я испытал небывалую любовь, несказанное обожание к этим затуманенным далям, белевшему просёлку, крохотной деревеньке, к синей туче с расплавленной кромкой. Туча закрыла солнце, посыпался лёгкий дождь. Дождь мочил меня, цветы, все окрестные травяные холмы. А когда кончился, и вышло солнце, всё вокруг засверкало алмазами, вся бескрайняя русская даль светилась и сверкала. И я понял, что здесь появился Пересвет, и его подвиг родился из бесконечной любви, из молитвенного обожания, которые передались мне, и я на мгновение стал Пересветом.

Я много думал, и мне открылось, что русские — это народ-Пересвет. Иван Сусанин, заманивший поляков в чащобу и погибший от польской сабли, был Пересвет. Александр Матросов, закрывший грудью амбразуру немецкого дота, был Пересвет. Народный святой Евгений Родионов, которому отсекли голову чеченские боевики за то, что он не отрёкся от Родины, — он был Пересвет. “Русский код”, который живёт в каждом русском, я называю “код Пересвет”.

Пётр Дмитриевич умолк. Продолжал слышать шелест дождя в траве, вдыхал запах цветочной пыльцы, видел крохотную бабочку-голубянку, сбившую каплей дождя.

Ирина коснулась его руки:

— Господи, какой вы чудесный! Как много вы мне открыли! Как мне хочется учиться у вас, вам помогать!

Она убрала руку, не сразу, а медленно, и пока её пальцы скользили по его руке, он испытывал сладость, благодарность к ней за то, что воскресила эти изумительные мгновенья. Подумал: ещё недавно они были едва знакомы, он испытывал к ней отчужденье, но теперь она тронула его своей чудесной рукой, и он любит её скользящими пальцами.

— Я хотела вам что-то сказать. В чём-то признаться. Вы не узнаете меня? — Ирина повернула лицо к окну, свет реки упал на её высокий лоб, позолотил волосы, линии носа и губ стали тоньше, словно их провёл живописец, глаза стали прозрачнее и зеленей. — Не узнаете меня?

— Не узнаю. — Пётр Дмитриевич никогда не дул на эти пушистые брови, не пожимал эти чудные пальцы, не целовал эти мягкие розовые губы. — Не помню.

— Вглядитесь в меня.

— Нет, не помню.

Пётр Дмитриевич отвечал неуверенно. Воздух марсианских лесов кружил голову, рождал миражи, побуждал верить в невероятное.

— Сейчас я живу на Сретенке. Но моё детство прошло в Люблино. Там есть большой пруд с остатками старой усадьбы. Летом на пруду плавали лодки, а зимой снег расчищали и устраивали каток. Я любила смотреть на первый лёд, когда он кажется стеклом. Мальчишки кидали камни, камни летели, отскакивали ото льда, а некоторые камни пробивали лёд, и начинала пузыриться вода.

Я шла по берегу и увидела на льду куклу. Она была растрёпанная, раздёрганная. Кто-то её кинул. Мне её стало жаль. Я пошла на лёд, чтобы спасти куклу. Лёд провалился, я ухнула в воду. Ушла с головой, будто кто-то ужасный тянул меня на дно. Стала барахтаться, кричать, а меня утягивало. Я захлебнулась, потеряла сознание. Очнулась на берегу. Кругом люди, среди них молодой мужчина, весь мокрый. Это он кинулся за мной в прорубь. Меня повели домой, чтобы я не замёрзла. А мужчина повернулся и пошёл. Я видела, как он выжимает кепку. Я запомнила его лицо. Подумала, что непременно его найду.

— Нашли?

— Нашла.

— Кто же он?

— Это вы!

— Вы ошибаетесь, — отмахнулся Пётр Дмитриевич. — Я никого никогда не вытаскивал из пруда.

— Это были вы. Когда я увидела вас на программе у Бориса Журавлика, сразу узнала вас. И пошла на вечеринку, чтобы убедиться. Это были вы. Я вас нашла. Вы мой спаситель.

— Да нет же, я никого не спасал. Не знаю пруд в Люблино.

— Все эти долгие годы я искала вас и теперь нашла. Вы мой спаситель.

Пётр Дмитриевич видел её благодарные глаза. Ему вдруг стало казаться, что был пруд, сизый лёд, растрёпанная кукла, бурлящая прорубь, и в ней бьётся, кричит светловолосая девочка.

Это был мираж. Он и она надышались воздуха марсианского леса, и их посетили миражи.

За окном на реке снова показался белоснежный корабль с зеркальной рубкой. Теперь он плыл обратно, и над ним развевалась малиновая хоругвь со златовласым Спасом.

— Нет, нет, я никого не спасал, — произнёс Пётр Дмитриевич. — Нам пора идти.

Они покинули ресторан и простились. Ирина спустилась к набережной с непрерывным блеском машин. Пётр Дмитриевич поднялся по выложенной плитками дорожке в парк. И ему открылся восхитительный вид. Варварка с золотыми куполами струилась, лилась, приближаясь к Кремлю с его розовыми зубцами, белоснежной колокольней Ивана Великого, на которой горело золотое солнце. На заострённых башнях мерцали капли рубина. Храм Василия Блаженного казался огненной клумбой райских цветов.

Пётр Дмитриевич смотрел на Кремль, испытывая восхищение, волшебное озарение от несравненной красоты, которой не было равной в мире. Эта красота казалась родной, обожаемой. Он хранил в себе эту красоту на войне, в скитаниях. Она вдохновляла его, сладко погружала в бесконечное прошлое, делая это прошлое близким и драгоценным. Очертания башен, стен, золочёных куполов находились в таинственной гармонии с его дыханием, сердцебиением. Казалось, он создан по тем же законам, по тем же божественным чертежам, что и Кремль.

Воздух, окружавший Кремль, светился и чуть трепетал. Так трепещет отражение, потревоженное тихим ветром. Земной Кремль был отражением небесного, который сиял в бездонной лазури. Земной Кремль сошёл в Москву с небес, был образом небесного царства. Пётр Дмитриевич был одарён этим небесным образом.

В парке былолюдно. Посетители шли по дорожкам, наклонялись к диковинным растениям, вдыхали их запах, и этот аромат действовал на них, как веселящий газ. Все смеялись. Смеялась невеста в белом платье, обнимая жениха в чёрном костюме с красным цветком в петлице. Смеялись молодые люди, которые шли пританцовывая, перебрасывая друг другу чей-то жёлтый картуз. Смеялась молодая женщина, которая катила перед собой колясочку с ребёнком, и тот, оглядываясь на мать, смеялся.

Пётр Дмитриевич увидел в конце дорожки мужчину и женщину. Они шли, обнявшись, и смеялись. Он испугался и счастливо замер, узнав в них отца и мать, которые не разбились в злосчастном самолёте, а остались живы и шли теперь, молодые и прекрасные, и смеялись. Пётр Дмитриевич кинулся их догонять, но они свернули на другую дорожку и исчезли, а перед ним оказался изумительный куст жасмина, усыпанный благоухающими цветами.

Пётр Дмитриевич рассматривал растения, пересаженные в парк из космической лаборатории. У берёзы был розовый ствол и плакучие ветки. От неё исходил запах церкви, убранной на Троицу берёзовыми ветками, чуть увядшими среди кадильного дыма и пылающего воска. У сосны были длинные серебряные иглы, словно она стояла среди рождественского мороза, и от неё веяло холодом. Клён имел маленькие перламутровые листья, и они пахли, как те заповедные книги из семейного шкафа с подшивками “Весов” и “Аполлона”. Дуб был огненно-красным, и от него полыхало жаром.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как что-то приближалось, огромное, чудесное. Накатилось волной света. Он увидел каждый кирпичик в кремлёвской стене, каждый изразец в храме Василия Блаженного, каждого голубя, притаившегося в звоннице колокольни. Он любил Москву, город своего рождения и своей будущей смерти, зная, что смерти нет. Все они сойдутся в небесном Кремле, и ему откроется, наконец, тайна его появления в этом божественном мире, в божественном городе, где его ожидает несказанное чудо.

Петру Дмитриевичу казалось, что он совершил полёт в мирозданье. Очертил круг и вернулся на землю. Во время полёта он добыл ещё один “русский код” — “код Москвы”. Пополнил “Таблицу Агеева”. Вложил золотую частицу в хитон Богородицы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вечером Пётр Дмитриевич вернулся домой, в свой уютный загородный дом. Кот Кузьмич выскочил из кустов и побежал впереди машины. Пётр Дмитриевич убавил скорость, позволяя Кузьмичу важничать, делать вид, что он своей милостью пропускает Петра Дмитриевича к дому. Кот умудрялся различать машину Петра Дмитриевича среди всех проезжавших мимо машин. Бежал впереди к воротам, задрал хвост и перебирая лапами в свете фар. Кот полагал, и, быть может, справедливо, что именно он является хозяином дома, пускает в него Петра Дмитриевича. Снисходительно позволяет Петру Дмитриевичу насыпать корм в мисочку, брать себя на руки и мурлыкать, скрывая недовольство. Пётр Дмитриевич ни в чём не перечил коту, признавал его превосходство. Помнил, что этот полосатый златоглазый зверь хранит в глубине своей кошачьей души “Таблицу Агеева”.

Позвонил телефон:

— Дорогой Петрусь, ты предпочитаешь кружить голову юным аспиранткам и забываешь своего старого фронтového товарища! — Голос Фаддея был бархатным, сочным, дружелюбным. В воображении Петра Дмитриевича возникли сразу три Фаддея. Один — поникший, с окровавленной головой. Другой — вёрткий, счастливый, сбивающий с фасада блестящие буквы. Третий — пристойный, светский, с благообразной бородкой.

— Фаддей, рад тебе. Хочу повидаться.

— Ирина тобой восхищается. Называет тебя Пересветом. Когда повидаемся?

— Как скажешь.

— У меня есть предложение. Не удивляйся. Существует Сигарный союз. Люди собираются и курят сигары. Что-то вроде клуба любителей санскрита. Дымят, молчат, пьют вино. Приходи завтра вечером в клуб. Подымим, побеседуем, повспомоинаем.

— Приду, называй адрес.

Сигарный клуб помещался в ампирном особняке у Чистых прудов. Пётр Дмитриевич постоял у янтарного, с белыми колоннами, фасада, любуясь чугунным балконом и таким же, из узорного чугуна, крыльцом. Позвонил и был впущен. Строгий привратник спросил:

— Вы к кому, господин?

— К Фаддею Аристарховичу, — ответил Пётр Дмитриевич, разглядывая стены прихожей, увешанные фотографиями именитых курильщиков с сигарами во рту. Среди портретов были те, кого Пётр Дмитриевич видел на телешоу, в репортажах из Думы, а также важные незнакомцы, быть может, банкиры, промышленники, послы.

— Пётр Дмитриевич, я вас встречаю. Меня зовут Майкл Вякио. Фаддей Аристархович вас ждёт! — скорым шагом к нему подошёл человек с усиками на круглом лице. На нём были клетчатая кепка, ладный пиджак из клетчатого сукна, на ногах — вязаные гетры. Он напоминал шофёра, который водит автомобиль с клаксоном. — Здесь у нас бывают миллиардеры, принцы крови, отставные разведчики. Мы вам очень рады, Пётр Дмитриевич.

Любезный человек в клетчатом одеянии проводил Петра Дмитриевича коридорами и ввёл в просторную залу с колоннами. Здесь было сумрачно, мглисто. Стояли кожаные диваны и кресла. В них расположились курильщики. Загорались и гасли огоньки сигар. Поднимались вялые дымы, медленно текли, сливались, тянулись к потолку, где слабо светлела роспись, — колесница, богиня, летящие купидоны.

— Вон, видите, господин в чёрном смокинге? — осторожно с порога указывал Майкл Вякио. — Это вице-президент “Альфа-банка”, старейший член нашего братства.

Костлявый старик с лошадиным черепом погрузился в кресло. Во рту его торчала сигара. Он сделал вдох. Красный уголёк загорелся в сигаре. Двумя пальцами он вынул изо рта сигару. Задвигал подбородком, толстыми губами. Выпустил колечки дыма. Колечки излетали одно за другим, текли вверх, медленно увеличивались в размерах.

— Рядом с ним, в малиновом смокинге, владелец сталелитейной компании. Друг президента.

Узколицый господин с зоркими глазами стрелка сделал затяжку. Сжал губы в трубочку и выпустил струю дыма, целясь в дымные кольца соседа. Струя пронзила кольцо, рассекла, и кольцо, как сбитый самолёт, стало снижаться и падать.

— А рядом, видите, в вязаной кофте? Это разведчик-нелегал, работавший в Бельгии. Его вернули в Россию по обмену.

Рыхлый толстяк в домашней блузе отвалился на диване, закрыл глаза, раскрыл оскаленный рот. В опущенной руке дымилась сигара. На пальце блестел перстень. Изо рта медленно валил дым, будто внутри у разведчика что-то тлело, чадило. Там истлевало его нелегальное прошлое.

— А вот и Фаддей Аристархович!

Фаддей появился из сумрака, и Пётр Дмитриевич подумал, что Афродита родилась из морской пены, а Фаддей был сотворён из табачного дыма.

— Петрусь, с гератским приветом! — Они обнялись. Бородка Фаддея кольнула щеку Петра Дмитриевича. Фаддей был в вельветовом пиджаке, в рубахе апаш, в модных джинсах и чёрно-белых туфлях, отличаясь от чопорных, в смокингах, послов и банкиров.

— Майкл Вякио, принесите нам сигары! — попросил Фаддей, увлекая Петра Дмитриевича в уединённый угол залы, где стояли два кожаных кресла и столик с бокалами и бутылкой вина. — Поставим дымовую завесу, чтобы нам никто не мешал.

Фаддей принял от Майкла Вякио две сигары. Серебряными щипчиками откусил у обеих концы. Одну из сигар передал Петру Дмитриевичу,

дождался, пока тот взял её в рот. Зажигалкой с газовым язычком поджёг сигару, наблюдая, как Пётр Дмитриевич делает первый вдох. Тлеющий огонёк погрузился в табачные листья. Фаддей закурил свою сигару. Удобно уселся в кресле, закинув ногу на ногу, и выпустил дым в сторону Петра Дмитриевича, но не в лицо, а мимо, вдоль виска.

— Ну, мой друг, расскажи, как ты жил эти годы?

— Всего не расскажешь. Много странствовал, от Магадана до Смоленска. Один раз тонул в Мезени. Другой раз едва ни замёрз в Хибинах. Били кастетом в Туле. Стреляли из дробовика под Ростовом. Уцелел, как видишь.

— Собирал “русские коды”?

— Они, как зёрна. Ими засеяна вся русская пашня.

— А где урожай? Снопы обмолочены, а хлеба нет. Одна мякина.

— Что ж, придётся перебирать мякину, высккивать оставшиеся зёрна, вновь засеять русскую пашню, дожидаться нового урожая.

— Уж не знаю, наполним ли мы когда-нибудь наши русские амбары? Вкусим ли досыта хлеба?

— Лишь бы снискать хлеб небесный, а насущный приложится.

Они дымили. Пётр Дмитриевич не глотал вкусный дым. Выдувал его обратно. Его дым сливался с дымом Фаддея, и их дымы общим облаком поднимались вверх.

— А ты как жил, Фаддей? Когда-то ты сообщил мне, что являешься инопланетянином. Улетал к своим на звезду?

— Побывал на чёрной звезде. Там всё в чёрном свете. Жил в Америке, но решил вернуться в Россию. Во мне живут “русские коды”. Хоть я — обмолоченный сноп, но два-три живых зерна во мне осталось.

Они вспоминали свалку за расположением полка, где на солнце искрились консервные банки, и в сухом знойном небе кружили грифы. Спускались на помойку, били мучнистыми клювами ржавую жесть. Ротный стрелял по грифам из снайперской винтовки.

Вспоминали московскую ночь, когда на проспектах оставались следы гусениц, и носились счастливые ватаги с трёхцветными флагами. Латунные буквы откалывались от фасада и звонко скакали по асфальту.

Дымы истекали из них, сливались в душистое облако.

— Я услышал о тебе, Петрусь, когда находился в Америке. По интернету прочитал твои статьи о “Русской Мечте”. Видел передачу с твоим участием. Потом узнал про “Таблицу Агеева”. Меня это поразило. Ведь я, как и ты, изучаю “русские коды”. Ищу их в “Повести временных лет”, в русских волшебных сказках, в учении старца Филофея и патриарха Никона. Я перечитал всю русскую поэзию, её “золотой век”, “век серебряный”, Маяковского, Твардовского. Я тоже хотел составить таблицу, в которой “русские коды” стройно воплощались бы в “Русскую Мечту”. Не получилось. Все коды рассыпались, враждовали друг с другом. “Мечта” не складывалась. Как ты пришёл к своей “Таблице”? — Фаддей выпустил дым, который свился в спираль и, как выюн, устремился ввысь.

Пётр Дмитриевич не глотал дым, держал его во рту, чувствуя гортанью и нёбом горьковатую прелесть тлеющих листьев. Открывал рот, плавно выпускал дым на свободу. Облако медленно расплывалось, и Петру Дмитриевичу казалось, что вместе с дымом улетучиваются несколько секунд его жизни.

— “Таблица Агеева” явилась мне во сне. Как Менделееву его таблица.

— В те годы, когда жил Менделеев, русским людям снились великие сны. Неужели эти времена возвращаются? Как же это случилось? — Дым, который изошёл из Фаддея, коснулся дыма, принадлежащего Петру Дмитриевичу, но не слился с ним, а обнял, словно одна душа заключила в объятья другую. — Как сделать так, чтобы мне приснился подобный сон?

— Была весна. Я гулял вдоль лесной опушки. Цвели ивы, похожие на золотые подсвечники, и в каждой свече гудела пчела. Дома я размышлял об удивительной способности русских превращать тьму в свет. В “Храме на крови” висит чудотворная икона Царской семьи. Расстрелянные в Ипатьевском доме, святые мученики не требуют отмщения и возмездия, но прощают, зывают к примирению. Не проклинают, но благословляют. С этими

размышлениями я уснул. Во сне услышал дивный аромат. Это пахла медом цветущая ива, и этот запах превратился в аромат маминых духов. Так пахло её летнее платье. Я сидел в боевой машине разминирования, где-то рядом был ты. В смотровую щель я видел глинобитную стену и над ней синюю главку мечети. Эта главка превратилась в синюю бусину от стеклянных бус, которые мне подарила девушка в день окончания школы. В нашем доме на столе стояла бабушкина хрустальная ваза. Я потянулся к ней, желая кинуть бусину в вазу. Но ваза упала и разбилась. Рассыпалась на множество блестящих осколков. Я закричал, но осколки собрались воедино и сложились в хрустальную вазу, полную солнца. Это была “Таблица Агеева”. Всё множество кодов сложилось в стройную систему, где один код сочетался с другим, и вместе они составляли “Русскую Мечту”. Таблица отпечаталась во мне. Оставалось только нарисовать её.

— Поразительно! Так русским святым являлись иконы и звучал во сне голос Господа! — Фаддей выдохнул дым, который проник в дым Петра Дмитриевича и остановился в нём, как сердцевина. — Сегодня русский народ — это ваза, разбитая на тысячи осколков. — Фаддей держал сигару двумя пальцами, водил ею в воздухе, рисуя дымом письма. — Все “русские коды” сместились, перепутались, уничтожают друг друга. Одни коды погибли, другие, неведомые, появились. Народ сошёл с ума. Не понимает себя, не понимает мира. Не видит, где его гибель, а где спасение. Ты должен спасти народ. Должен предъявить чудесную таблицу, чтобы расколотая ваза снова сложилась. Чтобы вазу наполнило солнце. В этом твоё предназначение! Для этого тебе Господь показал во сне вещь “Таблицу”!

— Но в ней присутствуют ещё не все элементы. — Пётр Дмитриевич следил за письменами, возникавшими из дыма, но не мог прочитать. Фаддей писал на неизвестном языке. — В “Таблице” остаются пустоты. Я должен открыть ещё несколько кодов и найти им место в “Таблице”. И главное, я должен обнаружить ключевой код, который оживит всю “Таблицу”, превратит её в могучую силу. Ключ “живой воды”, который оросит “Таблицу” и с её помощью воскресит народ. Я ищу этот таинственный ключ, волшебный родник русской жизни.

— Так давай вместе искать. Давай вместе заполним “Таблицу” недостающими кодами. Все эти годы я занимаюсь тем же, что и ты. Я изучаю “русские коды”. Собираю те, что ещё уцелели. Отыскиваю те, что погибли под развалинами русской истории. Я создал хранилище “русских кодов”, как создают хранилище элитного зерна. Когда-нибудь мы вместе посеём эти зёрна. Покажи мне свою “Таблицу”. Мы её оцифруем, и в цифровом исполнении введём во все структуры одряхлевшей русской жизни. В затухающую космическую отрасль, превратим её в “Космос Русской Мечты”. В атомную энергетику и воссоздадим “Реактор Русской Мечты”. В армию, наградив её “Религией русской Победы”. В культуру, где сейчас правят бал такие, как Богоносцев и его невеста Ксения Фалькон, и провозгласим “Культуру Русской Мечты”. Везде, где существуют системы управления, где присутствует “искусственный интеллект”, мы внесём в них цифровую “Таблицу Агеева”, и она преобразит всю русскую жизнь. Даст долгожданный полёт русскому государству. Открой мне “Таблицу”, Петрусь!

Пётр Дмитриевич старался прочитать письма, которые выводила сигара Фаддея. Они казались ему арабской вязью. Или персидским орнаментом. Или китайскими иероглифами. Или шумерской клинописью. Их смысл оставался сокрытым, и только завораживала дымная струйка, выводившая витиеватую строку.

— Я не могу открыть тебе “Таблицу”, Фаддей. “Таблица” — сокровенная власть. Кто владеет “Таблицей”, обладает властью, способной устремить Россию в великое будущее, вернуть русскому народу непочатые силы. Или, если “Таблица” попадёт к врагу, с её помощью можно погубить народ, навсегда запечатать Россию в чёрных пещерах истории. Я храню “Таблицу Агеева” там, где её не достать врагу. Я поместил её в моего домашнего кота Кузьмича. Кот хранит её, а не я. Не хочу, чтобы “Таблица” попала к врагу, и враг поступил с “русскими кодами”, как поступили с ними в горбачёвскую перестройку.

— Я предоставлю тебе мой сейф. В него невозможно проникнуть чужому. Он снабжён электронными замками, такими системами, которые охраняют склады ядерных боеприпасов, золотые слитки в банке. Положи “Таблицу” в мой сейф, и ключи будут только у тебя и у меня.

— Я не могу открыть тебе “Таблицу”, Фаддей. Только президенту.

— Ты мне не веришь? Ведь у нас с тобой одна судьба, одна война. Нас покалечил один и тот же взрыв. Одна и та ж перестройка. Мы вместе сбивали с партийного фасада золочёные буквы, и ты держал в руке сбитую мной букву “М”. Мы русские люди. Как никто, любим Россию, хотим её возродить. Вооружить русский народ накануне тяжёлых испытаний. Если надо, отдадим за Россию жизнь, как отдавали жизнь за нашу красную исчезающую Родину!

У Петра Дмитриевича плыла голова. Дымы, его окружавшие, казались разноцветными облаками, и он парил среди разноцветных облаков на воздушном шаре. Огонь на конце сигары проникал вглубь, сжигал табачные листья, превращал в дым душистые смолы, пьянящие эфиры, наполнял дурманами лёгкие, летал по крови и возвращался в воздух в виде голубого дымного облака. В этом облаке витала душа курильщика, его тайные чувства и помыслы.

Пётр Дмитриевич любил Фаддея, чувствовал свою с ним тайную связь. Оба были порождением взрыва. Оба встретились, чтобы вместе совершить великий подвиг во имя ненаглядной Родины. Оба исповедовались друг другу, но не словами, а летучими дымами.

— А ты не боишься, Петрусь, что кто-нибудь вдохнёт твой дым и узнает тайну “Таблицы Агеева”?

— Он увидит золотую Богородицу, стоящую на облаке.

Пётр Дмитриевич блаженно улыбался, посылая своему другу, своему единомышленнику облако серебристого дыма. Некоторое время они молчали, улыбались, витали в разноцветных туманах. Глотали волшебный огонь, который разлетался по крови, рождая видения.

— Хочу познакомить тебя, Петрусь, с господами, прилетевшими в Москву из Америки. Они прилетели охотиться за “русскими кодами”. Охотиться на тебя, Петрусь. Я знаю об их задании. Я работал с ними в Бостоне. Они умны, жестоки. Они умеют под пыткой выбивать из человека информацию. Умеют водить боевые истребители. Умеют взламывать социальные сети. Я предлагаю тебе защиту. Мы спрячем “Таблицу Агеева” так, что они её не достанут. Но ты запомни их лица и берегись их!

Фаддей поднялся из кресла и повёл Петра Дмитриевича через залу.

Пётр Дмитриевич заметил, как по зале движется Майкл Вякио. Тот держал в руках сачок, каким ловят бабочек. Осторожно приближался к облаку дыма, ловко вычерпывал, уносил куда-то и вновь возвращался. Искусный ловец, он подкрадывался к добыче, улавливал вялый клуб дыма и бережно уносил.

— Что он делает? — Пётр Дмитриевич зачарованно наблюдал охоту за дымами.

— Майкл Вякио коллекционирует дымы известных персон. У него огромная коллекция. Ты можешь подарить ему свой дым.

Несколько диванов и кресел были сдвинуты, образуя купе. Здесь уединились три курильщика, чем-то похожие один на другого. Все трое были в чёрных смокингах, с усами, колючими, пушистыми, вразлёт. Усы закрывали верхнюю губу, из-под которой истекал дым. Казалось, вместе с сигарами дымятся усы.

Фаддей не представил Петра Дмитриевича, но каждого американца называл по имени. Пётр Дмитриевич, опьянённый дурманом сторевших листьев, не запомнил имён. Опустился в кресло и стал наблюдать, как дым просачивается сквозь усы курильщиков, и те одинаковыми движениями языка выталкивают дым изо рта.

— Надо признать, что наша работа не была доведена до конца, — произнёс тот, что имел усы щёткой. Он говорил на прекрасном русском, и лишь конец фразы слегка загибался вверх, как восточный чувяк. — Нами были уничтожены все “советские коды”, “красная” Россия пала и, казалось, больше не

возродится. Но, видимо, оставался ещё один неведомый код, малый ключик, который не удалось обнаружить. Русские спрятали его в какое-нибудь русское животное, в сказочную утку или в зайца. Может быть, укрыли его в дупле дерева или на кончике сосновой иглы. Мы должны отыскать этот код, чтобы ошибка не повторилась. Не случилось воскрешения русских.

— Но, может быть, мы ищем этот волшебный ключик на земле, а русские прячут его на небе? — произнес второй, с пышными усами. Во рту его виднелись два желтоватых резца, придававшие ему сходство с бобром. — Русские считают себя небесным народом, объясняют своё происхождение чудом. Чудо позволяет русским воскреснуть после очередной смерти. Из чудесного сосуда капает в мёртвую Россию капля “живой воды”, и Россия воскресает. Мы должны искать “русский код” на небе. На том, до которого не долетают космические корабли.

— Насколько я понимаю, для русских чудом является Победа. — Третий господин носил усы вразлёт, причём один ус был короче другого, словно короткому усу не хватало питания, и он отстал в своём росте. — Русские понимают Победу как одоление адской тьмы райским светом. Считают своих павших солдат ангелами, а Сталина — архангелом. Нам не удалось сжечь икону русской Победы, и они перенесли эту икону из “красной” России в нынешнюю. Может быть, они спрятали свой волшебный код в Победу?

— А что думает русский коллега? — спросил похожий на бобра.

Петру Дмитриевичу казалось, что он кружится в вальсе. Так действовал на него табачный дурман. Он понимал, что сидящие перед ним усачи были врагами, принимавшими участие в убийстве его “красной” Родины, и явились в Москву, чтобы добить Россию. Он не испытывал ни вражды, ни страха. Дымы действовали на него, как наркоз, снимавший боль и гасящий бдительность. Рядом сидел его друг Фаддей, готовый защищать драгоценные коды, сберегать от врагов “Таблицу Агеева”. Продолжая вальсировать под хрустальными люстрами, среди восхитительных дам и блистательных кавалеров, Пётр Дмитриевич произнёс:

— Вы хотите узнать, господа, где таится русский волшебный код, коим совершится воскрешение России? Этот код таит в себе Пушкин, потому в него и стреляли, но промахнулись. Этот код хранится в “коте учёном”, а также в основном дупле возле дома старого космиста. Он сбережён в Победе, которую пытались отнять у русских, поливали грязью, жгли огнемётами, били из танков у Дома Советов. Но русские перенесли Победу из “красного” времени в нынешнее. Так выносят из окружения знамя полка, наматывая его на просторенную грудь. Переносят через линию фронта, поднимают, и под знаменем вновь собирается полк. Не трудитесь, господа, отыскивать этот “русский код”. Завтра я отправляюсь в Новый Иерусалим, где хранится тайна главного русского кода — “Кода Победы”. Вам его не найти, господа. Вам не помогут никакие усы! — Пётр Дмитриевич встал с лёгкостью молодого танцора, продолжил кружение. Майкл Вякио махнул перед его глазами сачком, стараясь поймать облако дыма, но промахнулся, и дым улетел к потолку, где богиня неслась на колеснице в окружении купидонов.

— Хочешь посмотреть хранилище дымов? — Фаддей взял Петра Дмитриевича под руку, чтобы тот не упал, — Ты зря сообщил этим трём колдунам, что отправляешься завтра в Новый Иерусалим. Как бы они не увязались за тобой.

— Что ж, покажите мне ваш колумбарий! А эта усатая троица мне не помеха.

Майкл Вякио, отложив сачок, повёл Петра Дмитриевича и Фаддея вниз по лестнице на подземный этаж, где располагалось хранилище. Вдоль стен от пола до потолка высились стеллажи. На них плотно стояли стеклянные сосуды. В каждом что-то неясно туманилось. Это были дымы, которые когда-то излетели из уст знаменитых курильщиков. Сами знаменитости были давно мертвы, а их дыхание вместе с дымом уловлено в сосуды.

— Здесь есть дымы русских царей и русских писателей, — пояснял Майкл Вякио, бережно касаясь сосудов. — Есть дым Гитте и Струве. Дым Зинаиды Гишпиус и Владимира Маяковского. Дым Гесса, взятый у него в тюрьме Шпандау за неделю до самоубийства.

— Что вы делаете с этой драгоценной коллекцией? — поинтересовался Пётр Дмитриевич, постепенно освобождаясь от табачного дурмана.

— Каждый дым содержит тайну человека, курившего когда-то сигару, — пояснил Майкл Вякио. — Если вдохнуть этот дым, вам откроется эта тайна. Мы узнаём тайны дымов и пишем историю, основанную не на слухах и случайных документах, а на помыслах тех, кто творит историю.

— Какие же тайны вам удалось разгадать?

— Вот, например, дым Наполеона. — Майкл Вякио тронул сосуд, в котором таилась голубоватая дымка. — Отведав этого дыма, мы выяснили, что между Наполеоном и Александром Первым был заключен Пакт о ненападении, который имел секретные протоколы. По этим протоколам совершался раздел мира между Россией и Францией. России отходила Индия, бывшая тогда английской колонией, а Наполеон забирал себе Африку, Австралию и саму Британию. Поход атамана Платова в Индию провалился, потому что случился падёж лошадей, и казакам не на чем было добраться до Индии.

— Могу я попробовать дым Наполеона? — робко поинтересовался Пётр Дмитриевич.

— Это весьма опасно, — деликатно отклонил просьбу Майкл Вякио. — К нам приходил один петербургский профессор. Он обожал Наполеона и во всём ему подражал. Он отведал дым императора, вернулся в Петербург и расчленил молодую красавицу, полагая, что это символическое расчленение мира. С четвертованной женщиной он решил переправиться через Березину, но, как вы знаете, переправа прошла неудачно.

— А какой дым я могу отведать? — продолжал настаивать Пётр Дмитриевич.

— Пожалуй, дым от сигары Василия Ивановича Чапаева.

— Чапаев курил сигары?

— Он разгромил штаб Колчака и нашёл там сигары. Перед атакой он курил сигары.

Майкл Вякио достал с полки стеклянный флакон. В нём содержалась серая муть. Поставил флакон на подставку, как это делают с электрическим чайником, и нажал кнопку. Муть взволновалась, обрела розовый цвет, стала огненно-красной. Майкл Вякио снял флакон с подставки, достал пластиковую трубочку и вставил её в сосуд, словно в нём содержался коктейль.

— Отведайте, — пригласил Майкл Вякио Петра Дмитриевича, — Только пожалуйста, самый малый глоточек!

Петр Дмитриевич ухватил губами трубочку и втянул дым.

Почувствовал слабый ожог, будто проглотил капельку уксуса. Ему показалось, что в язык укусила пчела, и он вскрикнул от боли. Жаркая боль проникла в сердце, и оно расширилось, взбухло. Глаза стали выпучиваться, польхнул ослепительный свет, и Петра Дмитриевича подхватило, помчало, понесло. Кругом свистело, грохотало. Сливались размытые дали. Мелькали города, реки, горы. Летели звёзды. Визжали осколки. Это были осколки разорванных планет и рассечённых галактик. Пётр Дмитриевич мчался в седле с криком: “Даёшь”! В руке сверкала верная сабля с отражением Млечного пути, и от неё отлетали отрубленные головы встречающих планет.

Пётр Дмитриевич очнулся. Майкл Вякио и Фаддей приводили его в чувство. А Пётр Дмитриевич, испытавший восторг русской атаки, помещал в свою “Таблицу” ещё один русский код — “код Чапаева”.

— Мне пора идти, — слабо произнёс Пётр Дмитриевич. — В следующий раз я приду и сделаю две затяжки.

Его провожал Фаддей:

— Ещё раз прошу, Петрусь, давай работать вместе. Покажи мне “Таблицу Агеева”.

— Не могу, Фаддей. Только президенту России. Она находится под грифом “Секретно”.

— Я не настаиваю. Вместе нам было бы легче её охранять. И ещё раз скажу, что зря ты сообщил этим трём усачам, что отправляешься завтра в Новый Иерусалим.

Друзья обнялись, условились встретиться вновь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Пётр Дмитриевич не сомневался, что кот Кузьмич любит его. Просто кот был скуп на внешние изъятия чувств. Ему была чужда привычка вспрыгивать Петру Дмитриевичу на колени. Он редко позволял себе забираться на кровать хозяина и спать у него в ногах. Нехотя оборачивался, когда Пётр Дмитриевич окликал его. А иногда и просто делал вид, что не замечает, следовал мимо, не оглядываясь. Не откликался на все заискивания и оклики.

Но между котом и Петром Дмитриевичем существовала молчаливая связь, которая не нуждалась в словах и признаниях, в умилительных знаках внимания. Когда Пётр Дмитриевич выходил из дома и усаживался в кресле под сосной, глядел, как из-за дерева медленно появляется белое облако и мимо пролетает бабочка-белянка, и в этом блаженном созерцании являются образы детства, милые лица близких, строка ползузабытого стихотворения, кот Кузьмич появлялся и ложился в стороне, так чтобы его мог видеть Пётр Дмитриевич. Они часами находились рядом, не докучая друг другу, погружённые в единое сладостное созерцание, в полуденный свет, где они оказались вместе среди запаха цветов, белого облака, пролетевшей бабочки и мимолётной строки: "...младая будет жизнь играть". Кот Кузьмич знал эту строку, как и всё пушкинское стихотворение. Знал всё, что знал Пётр Дмитриевич, и гораздо больше. Ибо имел заоблачное, космическое происхождение. Был мудрее и совершеннее Петра Дмитриевича. Недаром Пётр Дмитриевич доверил коту сбережение самого драгоценного своего достояния — "Таблицы Агеева".

"Вера в Чудо" была "русским кодом", который приводил в движение множество других "русских кодов". "Таблица Агеева" была Чудом. Чудом была и сама Россия с её историей, где череда смертей сменялась чередой воскresений. Это придавало русской истории пасхальный смысл.

Желая увидеть, как сходит на Россию благодатный огонь, Пётр Дмитриевич отправился к своему знакомцу, отцу Андрею, обитавшему в подмосковном селе вблизи Нового Иерусалима.

Новоиерусалимский монастырь был прекрасен. Колокольня струилась в лазурь, похожая на восхитительное райское древо. Главы соборов, как воздушные шары, колыхались, касались друг друга, издавали тихие перезвоны. Стены с башнями были покрыты серебристым тёмом, и если подняться на стену, открывались зелёные дали, синие леса, блестела река, и в небе летели птичьи стаи. Шатёр Воскресенского собора, полный голубых лучей, казался небесным сводом. В нём витали ангелы. Песнопения вместе с душистыми дымами утекали ввысь, и там, под куполом, что-то сотворялось из лучей, дымов, песнопений, плещущих ангельских крыльев. Оттуда тихо стекало сусальное золото, и лица молящихся казались озарёнными.

Было много старушек в блёклых разноцветных платочках. Пожилые мужчины стояли без шапок, сутулые, с задумчивым тихими лицами. Молодые крепкие парни теснились вместе и истово, одновременно осеняли себя крестным знаменем. Были паломники и паломницы в стоптанных башмаках и чёрных подрясниках. Был юродивый, который кривлялся и что-то выкрикивал. Малые дети шалили и бежали по храму. Было несколько солдат в форме с фуражками под мышкой. Молились казаки с лампасами, усыпанные крестами.

Петру Дмитриевичу было хорошо. Он был вместе со своим народом, молился, ставил свечки, не стеснялся слёз, когда хор страстно, неземными голосами пел: "Богородице, Дево, радуйся". Всё вокруг начинало плыть, плавилось, отекало золотом, и хотелось, чтобы не кончались песнопения, не кончались слёзы, не кончалась любовь.

Юродивый в обносках, кривляясь, шлёпая слюнявым ртом, шёл среди прихожан с картонной коробкой, собирая деньги. Подходил к каждому, говоря:

— Клади рубль, возьми два!

Люди сыпали деньги. Юродивый подошёл к Петру Дмитриевичу. Пахнуло кислым потом. Одноглазое лицо ухмылялось.

— Клади рубль, возьмёшь три!

— Почему три, а не два? — Пётр Дмитриевич кинул в коробку купюру.

— У собак лица, а у людей морды. Такое время, — произнёс юродивый и пошёл толкаться среди прихожан.

Петру Дмитриевичу показалось, что из толпы сверкнула вспышка. Кто-то сделал снимок. Мелькнул человек с аппаратом и скрылся. Его лицо показалось знакомым. Пушистые усы и два резца во рту, как у бобра. Такое лицо Пётр Дмитриевич видел накануне в курительной зале, где Фаддей знакомил его с тремя усачам. Однако Пётр Дмитриевич мог обознаться и скоро об этом забыл.

Пётр Дмитриевич и прежде бывал в монастыре. Патриарх Никон, основатель монастыря, волновал его. Грозное лицо, косая борода, чёрные навывкате глаза, тяжёлый нос и толстые губы, могучий кулак, сжимающий посох, — таким выглядел Никон на старой парсуне, перед которой долго простаивал Пётр Дмитриевич. Старался разгадать тайную мечту Патриарха.

Тот решил возвести среди подмосковных берёз точное подобие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Перенёс из Палестины в Подмоскowie образы и названия Святой земли, где прошла земная жизнь Иисуса Христа, где ступала нога Спасителя, где его постигла мученическая смерть и случилось чудесное воскрешение. В монастыре и вокруг были Крестный путь, Голгофа, Гефсиманский сад, Фавор, Генисаретское озеро — Галилейское море. Речка Истра именовалась Иорданом.

Пётр Дмитриевич не мог понять могучую и пугающую идею Патриарха, который перенёс под Москву, как по воздуху, палестинский Иерусалим. Не стал завоевывать, как крестоносцы, залившие Палестину кровью. А волей и духом переместил под Москву светоносную землю. Победил пространство и время. Присоединил к Москве Палестину, как до этого присоединили Сибирь и Малороссию.

Эта затея могла показаться прихотью. Новый Иерусалим мог выглядеть макетом, копией подлинного Иерусалима. Но здесь, у монастырских стен, веяло таинственной силой, будто и впрямь эти опушки, деревеньки, просёлки “в рабском виде Царь Небесный // исходил, благословляя”.

Несколько раз во время этих размышлений ему казалось, что он видит вспышку фотокамеры. Кто-то фотографировал его, укрываясь в толпе. Вчерашняя усатая тройца мерещилась ему среди прихожан. Усы щёткой, пушистые и вразлёт мелькали среди подсвечников и лампад. Но, быть может, ему это только казалось.

В раздумьях Пётр Дмитриевич покинул монастырь и отправился к отцу Андрею поразмышлять о Русском Чуде. Он застал отца Андрея в саду под яблонями за чаепитием. Сtatный, с каштановой бородой, ясным взглядом, отец Андрей в белом подряснике поднялся навстречу Петру Дмитриевичу. Благословил, усадил за стол. Придвинул чашку и вазочку с земляничным вареньем, вокруг которого кружила оса. Сквозь яблони, на которых наливались плоды, белела церковь, блестел пруд с плавающими гусями. Слышался свист косы. Громадного роста казак в шароварах с лампасами, в рубахе на выпуск махал косой, выкашивая бурьян.

— Какими судьбами, Пётр Дмитриевич? — отец Андрей наливал в чашку Петра Дмитриевича чай из фарфорового чайника с красным петухом.

— Да вот, переплыл Иордан и сразу к вам, отче.

— Омовение в Иордане, считайте, второе крещение.

— В чудесном месте обитаете, отец Андрей. Должно, кругом чудеса творятся?

— А это разве не чудо? — священник указал на церковь, нежно белевшую сквозь яблони. — Какой она мне досталась! Один фундамент, алтарь мерзостями исписан, смрад. “Боже, как мне её поднимать?” Но вот чудо, стоит Божья краса!

— Вы чудотворец, отец Андрей.

— Не я — Патриарх Никон. Он помогает. Откуда силы берутся? Откуда дарители являются? Патриарх присылает.

— Как же он присылает?

— Я вам расскажу, Пётр Дмитриевич. Задумал я заказать пять икон во славу русского оружия. Денег нет, где взять? Казна моя пуста. И вот приходит один человек, в брезентовом плаще, грязью заляпанный, с сумкой. Спрашивает меня. Я младенец крещу, не могу к нему выйти. Он два часа смиренно ждал под дождём. Я вышел: “Что вы хотели?” Он сумку на землю поставил. “Тут вам, батюшка, на иконы”. И ушёл. Я сумку открыл, а она полна денег. Десять миллионов. Кто прислал благодетеля? Патриарх Никон.

Они сидели, пили чай. Пот катился по лицам. В стороне свистела коса. Казак могуче двигал плечами, отирал сверкающую косу клочком травы.

— Вы спрашиваете, Пётр Дмитриевич, какие чудеса здесь творятся. Я вам скажу, какие. Я сам местный, родился в Истре. Монастырь с детства знаю. Ну, развалины, ну, немцы в войну взорвали. Всё привычно. Ушёл в армию, пришёл из армии. Ищу работу. Не нахожу подходящей. Маюсь. Стал водкой баловаться. А было Крещение. Снег, мороз. В церковь никогда не ходил. Лёг спать. Вдруг среди ночи кто-то толкнул: “Встань и иди!” Куда идти, не сказал, но я знаю. В монастырь. Взял фонарь, ночью пошёл в монастырь. Темень, ветер жжёт. Вошёл в собор. Руина. Под ногами хрустят изразцы, о кирпичи спотыкаюсь. Зажёл фонарь. Под ногами то голова ангела вспыхнет, то крыло. Вошёл в собор. Огромный, ветер в окнах ревет, а купола нет, рухнул. В небе дыра. А оттуда, из чёрной дыры, звёзды. Сверкают, переливаются, то зелёные, то голубые, то розовые. На меня с неба чудесная сила нисходит. Чей-то голос. Слов не разобрать, но гудит с ветром. И такой во мне восторг, такое счастье, такая вера в Того, Кто смотрит на меня со звёзд сквозь купол разоренного храма! Кто поёт мне свои небесные песнопения! Я ушёл из монастыря и спустился к Истре, которая есть Иордан. Берег в огнях. Свечи, лампады. Люди поют, входят в реку. Берега белые, а вода чёрная, текучая. Я разделся, принял свечу и вошёл в Иордан. Не чувствую холода. Иду в реке со свечой, и так мне хорошо, так дивно, такое благоговение. Уж потом, когда стал священником, понял. Здесь, в Иордане, принял крещение. А в соборе под звёздами был рукоположён, принял сан. Крестил и рукоположил меня Патриарх Никон.

Лицо отца Андрея светилось тихим счастьем. Он поведал Петру Дмитриевичу о чуде преображения.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как ему открывается дивное знание. Рождается долгожданный код, погружающий русского человека в бездонную благодать. “Код русского чуда”. Петру Дмитриевичу казалось, что в душе его таинственные соты наполняются мёдом. Малые восковые чашечки принимают в себя одну за одной золотые капли. Он слышал медовый аромат.

— Что же дальше, отец Андрей?

И тот продолжал:

— Я, Пётр Дмитриевич, о Патриархе Никоне всё, что мог, всё узнал, — продолжал рассказ отец Андрей. — В архивах рылся, историков читал, царские грамоты и монастырские книги перечитал. Где родился, как рос, как стал Патриархом. Как с царём поначалу дружил, а потом рассорился и попал в немилость. Как монастырь замыслил. Как монахов в Палестину посылал, чтобы те чертежи Храма Гроба Господня привезли. Как сам по округе ходил и указывал, где быть Голгофе, где — Гефсиманскому саду, где — Генисаретскому озеру. Не понимал его замысел. Чувствовал, что-то огромное, небывалое, а что, не мог понять. Постепенно приходила догадка, от которой становилось и страшно, и дивно. То один свидетель обмолвится. То в житие промелькнёт. То в богословских спорах, что он вёл с царём и протопопом Аввакумом, намёк прозвучит. Мне открылось, что Никон выбрал под Москвой место, куда Господа на Второе Пришествие приглашал. Звал в Россию, в избранную землю, в духовную Палестину, где случилось когда-то первое пришествие Христа. Никон хотел, чтобы Господь эти места узнал, как родные, спустился и отсюда повелась бы новая земля и новое небо. Грандиозная мысль! Приглашал Господа в Россию. Гордыня это или откровение, или страшная ересь? Я много исходил дорог вокруг монастыря, там, где по замыслу Никона, должна была ступить нога Спасителя. Мне казалось, он

здесь уже побывал. У этого камня сидел. К этой берёзе прислонился. В этом ручье ноги омывал. Тут, на пригорке, проповедовал. Всё в этих местах дышало святостью, каждый цветок, каждая пролетевшая птица, каждое облачко над лесом. Был, был Господь! Но когда? Когда спустился с небес на русскую землю?

Пётр Дмитриевич слушал исповедь священника. Казалось, под сердце проник волшебный луч, разбудил дремлющие воспоминания, забытые образы. словно состоялось зачатие, начинался неведомый рост. Это взрастал “код русского чуда”.

Пётр Дмитриевич вдруг вспомнил, как в детстве проснулся на рассвете, подошёл к окну. В синем небе над Пушкинской площадью летели чайки, серебряные, сияющие, и он испытал при виде серебряных чаек восторг. Вспомнил, как бабушка вела его в детский сад, и, выходя из дома, он увидел генерала в золотых погонах, в орденах, и генерал ему улыбнулся. Вспомнил, как плакала мама, а отец прижимал к груди её голову, гладил по волосам, и спина у мамы вздрагивала.

Созревание волшебного кода напоминало пробуждение весенней природы. Ещё повсюду снег, леса пустые, безмолвные. Но что-то дрогнуло в этих лесах, в вершинах осин сгустилась синь, изменили цвет кусты у дорог. И в одно мгновение что-то сверкнуло, загремели ручьи, кусты стали золотыми, лиловыми, синими, полетели в небесах птичьи стаи, и ликующая, восхитительная, явилась на землю Весна Священная.

— Продолжайте, отец Андрей! Пожалуйста, продолжайте!

И тот продолжал:

— Я, Пётр Дмитриевич, страстный грибник. Беру корзинку и на весь день в леса. Места здесь грибные, облюбованные. Раз пошёл по грибы, иду лесом и чувствую святость берёз, лесных колокольчиков, болотных горшечков, в которых дремлют бронзовые жуки. Каждый гриб, который мне является, будто светится. Как лампада в траве горит. Я его из травы вынимаю, а он мне улыбается. Собрал немного. В корзинке дна не покрыл. Один боровик, ножка белая, как из сметаны, а шляпка шоколадная. Красноголовки, парочка, крепьши в малиновых беретках. Сыроежки, жёлтые, розовые, как блюдца, и в каждой — капелька воды. Иду, наслаждаюсь. Вдруг мне навстречу дед. Тоже грибник. Борода кося, косматая. На голове шапка мятая, тёртая. В одной руке палка, ею траву шевелит. В другой руке корзина. Я в корзину к нему заглянул, а она пустая. “Что, отец, мало собрал?” — спрашиваю. “Да все к тебе пересыпал”. Смотрю, а у меня корзина полная. И все боровики, один другого крепче. “Садись, говорит, отдохнём”. Мы сели под берёзой, разговариваем. “Вот тут места такие, библейские. А люди сомневаются. Какой, говорят, Гефсиманский сад, если Христа здесь не было? Какой Фавор, если Преображение не случилось? А ведь был здесь Христос. Нисходил в наши места Спаситель, которого ждал Патриарх Никон”. “Когда же он нисходил?” — спрашиваю. “А в сорок первом году, когда немец к Москве подступил. Гитлер всю Красную армию разгромил, все русские танки и самолёты сжёг и подступил к Москве, остановился у Истры, у Нового Иерусалима и отсюда последний удар по Москве готовил. Москва без войск, без защитников, не устоит. И тут случилось чудо. В народе говорили, что свет с небес сошёл. Немцы ужаснулись света, побросали свои машины, пушки и кинулись бежать по дорогам. И этот свет гнал их от Нового Иерусалима до самого Берлина”. “И что это за свет?” — спрашиваю. “А это был сам Спаситель. Он снизошёл в час, когда Россия пропадала. Потому что немцы были демоны, которые ополчились на Царствие Небесное, хотели вернуть себе Царствие, откуда их Господь изгнал. Хотели захватить чертог Господа. А Россия есть преддверие в Царствие Небесное. Демоны хотели сначала покорить Россию, а потом захватить Небесное Царство. Вот Господь и снизошёл, совершил своё пришествие, стал во главе русских войск, загнал демонов в Преисподнюю, откуда они родом. Стало быть, пророчество Патриарха Никона о пришествии Христа в Россию у Нового Иерусалима сбылось. Оттого эти места намолены, и каждый грибок, как лампадка, светится”. Старик поднялся, поклонился мне и пошёл. На прощанье оглянулся, и я увидел, что

на голове у него митра в золоте, облачение из белой парчи, а в руке — патриарший посох, усыпанный камнями. Это был Патриарх Никон, каким он изображён на парсуне.

Отец Андрей в своём белом подряснике казался праведником, каких изображают на райских иконах. Красный петух на фарфоровом чайнике был петухом, которого тётя Поля в морозные ночи опускала в подпол, и тот из подземной тьмы пел о восходе солнца. Медовые соты переполняла золотая благодать. “Русский код” сочетал душу русского человека с Россией, данной ему, как непостижимое чудо.

Пётр Дмитриевич заметил, как среди яблонь мелькнул человек. Его сходство с бобром, распушённые усы и торчащие изо рта резцы напомнили Петру Дмитриевичу вчерашнюю курильню и трёх охотников за “русскими кодами”. Они явились в Россию из американских секретных центров, и теперь усатый американец таился в яблонях, поводил усами, как антеннами. Направлял их в сторону отца Андрея и Петра Дмитриевича, туда, где родился чудодейственный “русский код”.

Человек с внешностью бобра скрылся. На его месте появился другой, с усами шёткой, а потом и третий, с усами вразлёт. Они возникали и прятались. Искали место, где яблоня не заслоняла отца Андрея и Петра Дмитриевича. Они вели подслушивание. Слуховыми аппаратами служили усы, излучающие радиоволны. Оса, присевшая на вазочку с земляничным вареньем, почувствовала излучение и улетела.

— Отец Андрей, что за люди? — Пётр Дмитриевич указал на усатых разведчиков.

— Где?

— Да вон, за яблонями!

Теперь и отец Андрей увидел непрошенных гостей.

— А кто их знает. Может, воры. На той неделе церковь Покрова ограбили, две иконы унесли. Эй, Карп! — отец Андрей окликнул казака. Тот перестал косить. Не выпуская косу, подошёл к столу. — Карп, глянь, что за люди. Пугни-ка их!

Казаки посмотрели туда, где за яблонями скрывались лазутчики.

— Благословите, батюшка, косой пугнуть.

— Пугни, но не шибко.

Казаки напряг могучие плечи, набычились, издал рык. Взмахнул косой и с рычанием помчался на соглядатаев. Он был так страшен, так жарко пылали его лампы, так жутко сверкала коса, что американцы не выдержали и побежали. Казаки Карп вернулся и продолжал косить бурьян. Отец Андрей пригласил Петра Дмитриевича:

— Пойдёмте в храм. Хочу вас порадовать.

Они вошли в церковь. Здесь было прохладно. В золотистом сумраке витало тихое эхо утренней службы.

Песнопения, молитвы, вздохи и шелесты слабо теплились в опустевшем храме. На полу лежала красная ленточка, которую обронила какая-то маленькая девочка.

— Вот смотрите, Пётр Дмитриевич!

На стене висело пять больших икон в деревянных киотах, поля икон были украшены серебряной чеканкой. Выступая на верхнее поле, изображался святой, которого прославлял писанный образ. Ниже всё пространство иконы занимали батальные сцены. Стреляющие танки, взорванные доты, идущая в атаку пехота. Эти батальные сцены были столь правдоподобны и красочны, что казалось, танки движутся, взрывы вспыхивают, пехотинцы бегут и падают, пронзённые очередями.

— Что это, отец Андрей? — изумился Петр Дмитриевич, не встречавший прежде подобных икон.

— Это иконы Священной Победы. Как русское воинство, ведомое Христом, одолело демонов и отстояло Царствие Небесное, по пророчеству Патриарха Никона.

Пётр Дмитриевич рассматривал небывалые иконы. На иконе Георгия Победоносца красноармейцы гнали по снежным дорогам отступавших фашистов.

Краснел Кремль, летели снаряды “катюш”, мчались на лыжах автоматчики в белых халатах. Впереди наступавших войск сиял столп света, отгонявший демонов от Москвы.

На иконе Дмитрия Салунского немцев громили под Сталинградом. На Волге вздымались водяные взрывы. Пехотинцы с красным знаменем опрокидывали фашистов. Среди чёрных развалин белел знаменитый фонтан, пионеры с оторванными руками и головами продолжали вести хоровод, удерживая кольцо окружения. Над полем битвы светился поднебесный столп, направляя русских воинов в бой.

Архистратиг Михаил вел сражение на Курской дуге. Сшибались в тарахах танки. Орудья стреляли по “тиграм” прямой наводкой. Среди кромешной схватки светился лучистый столп — сошедший на землю Христос.

Ещё две иконы, — адмирала Ушакова и Александра Невского — были посвящены схватке за Севастополь и битве за Берлин. На крыше рейхстага советские пехотинцы водружали знамя Победы. Над ними раскрылось дымное берлинское небо, и оттуда летели пылающие голубые лучи победного Фаворского света.

— Это русское чудо! Чудо Русской Победы! — Пётр Дмитриевич прикладывался ко всем пяти иконам, слыша, как образа пахнут мёдом.

— Теперь же, Пётр Дмитриевич, хочешь показать место, где состоялось сошествие Христа.

Над лесом стояла высокая синяя туча. Её оплавленная кромка слепила. В глубине тучи рокотало. Пыль на дороге была горячая, белая. Вошли в лес, но не стало прохладней. Пахло баней, березовыми вениками, пряными болотными цветами. В душных соцветиях спали бронзовые жуки. На цветке иван-чая замерла бабочка, не в силах взлететь. Процокала белка и скрылась в дупле дуба.

Свернули с лесной тропинки и пробирались в чаще. Перешли ручей с мелкой чёрной водой. Ряд мухоморов глянул из травы и исчез.

Пётр Дмитриевич шагал за отцом Андреем, чувствуя немощь. Сердце ухало. Он задыхался. Казалось, они вошли в зону аномальных явлений. Здесь не действуют физические законы. Спутались магнитные линии. С неба сквозь ветви давит непомерная тяжесть. Так чувствуют себя путники, приближаясь к месту, где упал Тунгусский метеорит.

— Вот здесь, Пётр Дмитриевич.

Среди зарослей, окружённый деревьями, темнел остов легкового автомобиля. Без дверей, без крыши, без мотора, без руля — одна рама. Сквозь днище, продавив ржавый металл, росла берёза, высокая, с белыми ветвями и пышной зеленью, которая фонтаном взлетала к небу и зелёными струями ниспадала к земле.

— Что это? — спросил Пётр Дмитриевич.

— Штабной “Мерседес”. Какой-то немецкий генерал удирал по лесной дороге, и машина застряла. Окрестные мужики стекла и мотор утащили, а кузов здесь догнивает. Дорога заросла, а берёза машину насквозь пронзила и выросла до неба. Не снаряд машину подбил, не фугас, а русская берёза.

Пётр Дмитриевич смотрел на берёзу, которая была, как зелёный взрыв. Она касалась неба, черпала небесные силы и возвращала их на землю могучим взрывом, который разметал нашествие, сжёг броневики и танки. Наполнил ужасом сотрясённые души врагов и погнал из России до ворот в преисподнюю, где они исчахли и сгнули. Русский лес белизной берёз одолел немецкую тьму. Железо “Мерседеса”, рождённое на сталелитейных заводах Германии, было изъедено тихими русскими травами, улитками, божьими коровками. Ржавый скелет таял среди цветочной пыльцы, грибных запахов, свиста невидимой птицы.

— Это русское Древо Добра и Зла, — отец Андрей подхватил свисавшую ветку и поцеловал, как целуют икону. — Эту берёзу Господь посадил, когда спустился на землю.

Пётр Дмитриевич чувствовал благоухание дерева, исходящий от него таинственный свет. Недавняя немощь прошла. Ему было чудесно, светло. Казалось, он всю жизнь шёл к этой берёзе. Она звала его, оберегала от бед,

вразумляла, вдохновляла на великое служение, открывала сокровенные истины. Он был благодарен берёзе, испытывал благоговение перед ней.

Вдруг разом потемнело. Туча надвинулась и встала над головой. Грохнуло и сверкнуло. Ослепительно серебряной стала берёза. Далеко в лесу послышался шум. Приближался, гудел, наполняя лес рокотом, хлюпом. Шквальный ливень прошиб листву, обрушился вместе с громом и блеском, которые оглушали, слепили, метались над вершинами, превращая ливень в огненный водопад.

Отец Андрей и Пётр Дмитриевич стояли под берёзой, с которой, как по зелёным трубам, лилась вода. Не убегали из-под ливня. Пили воду небес. Животворящую воду Русского Чуда.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Общение Петра Дмитриевича и кота Кузьмича было глубинным. Не исчерпывалось нареканиями Петра Дмитриевича, когда кот не отвечал на приветствия или исчезал на несколько дней, не известив хозяина, и являлся исхудалым, разодранным, с истерзанными ушами.

В этом глубинном общении мяуканье кота, иногда трогательное, иногда раздражённое, не отражало всех душевных состояний, которыми Кузьмич делился с Петром Дмитриевичем. Их общение было немым. Оно требовало молчания, ибо касалось неизъяснимых материй.

Они оба знали о существовании Бога. О том, что сотворены Богом и живут в одно время и в одном месте не случайно, а в этом есть предопределение. Они знали, что рано или поздно умрут. Это знание их роднило, заставляло быть вместе, дорожить минутами общения.

Оба ведали о существовании зла, которое для Петра Дмитриевича проявлялось в несчастьях любимой Родины, а для Кузьмича — в невозможности предотвращать нашествие посторонних злобных котов. К тому же, Кузьмича больно ранило вероломство кошечек, которые ценили не ум и искренность чувств, а грубую силу, свирепую ярость и беспредельную жажду продлить свой род.

Иногда Кузьмич заболел, если во время скитаний по соседним участкам съедал некачественную снедь. Тогда он ложился на диван, сутками спал, отказывался от еды и смотрел на Петра Дмитриевича погасшими страдающими глазами. Несколько раз он являлся раненый и униженный, испытывал поражение от соперников. Пётр Дмитриевич лечил йодом его раны, не попрекал за проигрыш, а, напротив, ласкал, старался вернуть Кузьмичу чувство поправленного достоинства.

Бывало, что и Петру Дмитриевичу становилось худо. Иногда от телесной хвори, но чаще от огорчений, которые случались после встреч с чёрствыми, глухими людьми, не способными ценить божественный закон, разлитый в русской душе и в безграничном звёздном Космосе.

У Петра Дмитриевича и кота Кузьмича была общая тайна. Кот хранил в кошачьем сердце “Таблицу Агеева”. А Пётр Дмитриевич верил коту безгранично, отдавая ему своё бесценное сокровище.

Утром Пётр Дмитриевич по обыкновению выпил кофе, поделился с котом дымковской колбаской и открыл компьютер. Читал новостные ленты, перелистывал блоги, гулял по сайтам известных политологов, политических пророков, бойких всезнаек, разносивших сплетни. Эти сплетни заражали интернет, превращались в эпидемии, возникавшие мгновенно, как грипп, и столь же мгновенно пропадавшие. Где-то перевернулся автобус с детьми и унёс несколько жизней. Случился очередной пожар и разбился очередной самолёт, в который ударила очередная птица. Подросток явился в класс с обрезом и застрелил ненавистную учительницу. У любовницы банкира обнаружена собственная яхта, дворец в Ницце и несколько квартир в Москве. Начальник колонии потерял должность за то, что мучил заключённых, засовывал им в анальное отверстие пивные бутылки. Восемьдесятитлетняя певица родила ребенка и дала ему имя “Ганнибал”.

Просматривая сайт известной либеральной газеты “Макрос”, Пётр Дмитриевич натолкнулся на статью “Фашистский реванш”. Бегло её просмотрел и увидел своё имя, снова и снова. Стал читать и испытал удушье. С каждым словом сердце начинало ухать, словно в грудь кинули булыжник.

“В последнее время произошли события, указывающие на то, что фашистское подполье в России выходит из тени. Вчера никому не известный идеолог русского фашизма Пётр Агеев стал популярным героем радио и телевизионных передач. “Таблица Агеева”, которую он рекламирует, подобна работе Гитлера “Майн кампф”. Она утверждает расовое превосходство русских над другими народами России. Не случайно Агеев постоянно обращается к германской мифологии, вдохновлявшей преступников Третьего рейха. Из ряда источников стало известно о связях Агеева с влиятельными фигурами в крупном бизнесе, в армии и разведке. Его поддерживают наиболее радикальные круги Православной Церкви, националистические организации и казачество. Всё это делает реальной угрозой государственного переворота в России, прихода к власти самых консервативных, реакционных сил. Эти силы, прикрываясь пресловутой “Таблицей Агеева”, начнут фашизацию России. Еврейские круги как в самой России, так и в Израиле крайне обеспокоены этими тенденциями. Сторонники господина Агеева находятся в тесной связи с неонацистскими группировками Германии, Франции и Италии. Антифашистские силы России должны пресечь вылазку Агеева, иначе очень скоро у части российских граждан появится на одежде жёлтая звезда”.

Статья была подписана вымышленным именем “Риббентропус”. Пётр Дмитриевич был ошеломлён. Статью перепечатали несколько популярных сайтов. На неё появились ссылки и комментарии. Статья разлеталась по интернету, как низовой пожар в сухой траве. Пётр Дмитриевич стоял, окружённый жгущими огнями. Не знал, куда бежать, где искать спасенья от испепеляющего пламени. Он не сразу откликнулся на телефонный звонок:

— Вас слушаю.

— Пётр Дмитриевич, это я, Ирина Волхонцева.

— Кто, простите?

— Ирина Волхонцева. Мы с вами недавно встречались в парке “Зарядье”.

— Ах, да, — рассеянно произнёс Пётр Дмитриевич. Он ни разу за эти дни не вспомнил о ней. Теперь, когда на экране компьютера горела ужасная статья, он не хотел продолжать разговор.

— Пётр Дмитриевич, я прочитала статью! Это ужасно, подло! Вы самый светлый, добрый, чудесный! Вас хотят оклеветать, сломить! Помешать вашей святой работе! Они хотят подавить “русские коды”! Не сдавайтесь, умоляю вас! Вы так нужны народу! Так нужны русской культуре! Если могу вам чем-нибудь помочь, располагайте мной!

— Как же вы можете мне помочь?

— Я разыщу этого негодяя Риббентропуса! Плону ему в лицо!

Она задыхалась, быть может, рыдала. Петру Дмитриевичу захотелось увидеть её зелёные плачущие глаза, пушистые брови. Он хотел, чтобы она продолжала говорить. Спасала его, выводила из огненного кольца.

— Я вам благодарен.

— Мы можем увидеться. Вы не должны унывать! Вас любят, ценят. Люди не могут вам это прямо сказать. Но я за них говорю.

— Где вы сейчас, Ирина?

— Сегодня вечером я иду на спектакль. Быть может, вы знаете, экспериментальный театр. Пьеса: “С земли на небо”. Режиссёр Даниил Величко. Мы можем вместе пойти в театр.

— Я приду.

Пётр Дмитриевич отложил телефон. Выключил компьютер. Экран с пылающим текстом погас. Но оставался ожог. Всё болело, душа страдала. Женщина с пушистыми бровями пришла на помощь, она спасала его.

Они встретились задолго до спектакля на Садовой, среди шелестящих огней. Каждый огонь налетал, бесшумно раскалывался, словно сосуд, полный света, и пропадал, а ему на смену мчался другой огонь.

Ирина шла, опутив глаза, всё по той же натянутой струне, которая невидимо соединяла их. Пётр Дмитриевич чувствовал дрожанье струны, упругость её шагов, пугающую неотвратимость их встречи. Загадочное влечение направляло к нему эту женщину, переходящую во сне пропасть, и он пугался за неё, пугался за себя, смотрел, как уменьшается разделяющее их расстояние.

Она подошла, подняла глаза. В её глазах мчались огни Садового, отражались озарённые фасады, похожие на праздничные дворцы. В глазах сияла такая радость, такое обожание, такое доверие, что Пётр Дмитриевич вдруг подумал, что эту встречу он запомнит на всю жизнь, и воспоминание об этой встрече, быть может, спасёт ему жизнь.

— Как хорошо, что вы пришли! — Ирина чуть коснулась его руки. — Вы должны почувствовать, как вас любят, как восхищаются вами!

На ней была короткая юбка и лёгкая блузка, открывавшая шею с крохотным кулоном, в котором мерцал зелёный камень, под цвет её глаз. Волосы расчёсаны на прямой пробор. Лицо казалось открытым, светлым. Пушистые брови снова вызвали у Петра Дмитриевича желание потянуться к ним губами и подуть.

— Эта мерзкая статья написана завистниками и врагами. Но у вас есть друзья, много друзей. Весь русский народ — ваш друг!

До начала спектакля ещё было далеко. Они зашли в кафе и заняли столик у окна, за которым Садовое плескалось бриллиантовыми и рубиновыми огнями. Пётр Дмитриевич искал отражение этих огней в близких глазах Ирины.

— Когда я прочитала эту гадкую статью, я испугалась. Это донос, откровенный, жестокий! По этому доносу вас могут арестовать, судить, посадить в тюрьму. В университете у нас был профессор, который упомянул в своей работе “Протоколы сионских мудрецов”. Его затаскали по судам, он слёг и умер. Эта статья написана убийцами, которые желают вам смерти!

— Но ведь вы меня защитите?

— Я молюсь за вас. Отгоняю от вас зло. Вы не должны страшиться. Вы делаете доброе русское дело. За вас заступает само русское небо!

Ирина говорила так искренне, так трогательно вздрагивали её губы, так переливались в её глазах огни Садового, что Пётр Дмитриевич испытал к ней жаркую благодарность. В час его тревог она оказалась рядом, окружала его своим покровом, своей трогательной женственностью.

— Я боюсь не преследователей, не злоумышленников. Боюсь, а вдруг все мои размышления, все открытия мнимы. И эта “Таблица” — не более чем наваждение. Мне её во сне подсунил какой-то насмешник, чтобы я всю оставшуюся жизнь маялся, мучился, питался иллюзиями и других ими питал и морочил. Нет никакой “Русской Мечты”! Нет никаких “русских кодов”! Есть заблуждение, которое согревает меня самого. Уверяет меня в том, что жизнь моя не напрасна. И это всё сон, табачный дым, дурман марсианских растений. Каково же будет пробуждение?..

— Нет, нет, вы не должны сомневаться! Всё подлинно, истинно. Я убедилась в этом, когда вы победили святотатца Эраста Богоносцева. Вы разбудили в людях сокровенного Пушкина, и он сокрушил богохульника. Как прекрасно вы читали стихи!

— Моя мама в день рождения Пушкина с утра наряжалась, делала причёску, надевала синее платье и шла к памятнику, где люди читали пушкинские стихи. Она всегда читала один и тот же стих, “Клеветникам России”. Я любовался мамой. Она была прекрасна в своем синем платье, вскидывала руку, как это делал Пушкин, читая лицейские стихи. “Код Пушкина” я открыл тогда, когда мама читала стихи.

Ирина слушала, радостно кивала. Его искания были истинны, в них не было лукавства, подмены. Они явились, когда Родина нуждается в чуде. “Таблица” подобна иконе, которую обретает Россия в час испытаний. Сам Господь послал “Таблицу” в дивном ночном видении.

Пётр Дмитриевич хотел, чтобы она продолжала его убеждать. Чтобы продолжали трогательно дрожать её губы.

— Иногда мне кажется, что нужно очнуться. Отрешиться от заблуждений. Заняться чем-нибудь простым и полезным. Преподавать в школе. Или уйти в лесники, сажать на месте пожарища лес. Таблица умножения — вот подлинное знание. А “Таблица Агеева”, нужна ли она людям?

— Люди ждут исцеления, народ ждёт воскрешения. Мне кажется, сам народ в своих ожиданиях вымолил эту “Таблицу”. Вы столько скитались, столько пережили, так знаете народ, что именно вам открылась она. Она не ваша, она Божья!

— Вы верите в исцеление? Верите в воскрешение?

— Я с детства горевала, когда наступала осень и с деревьев опадали листья. Когда на клумбе увядали цветы. Когда кончался чудесный летний день, и я горевала, что он больше не повторится. В нашем роду были богатые купцы, владельцы заводов, профессора. Были революционеры. Одни пошли в белую гвардию, другие стали красными офицерами. В нашем роду много тайн, много тяжёлых преданий. Мне хочется воскресить всю умершую родню, собрать за большим столом в старинной богатой гостиной, чтобы все примирились, прекратили давнюю распрю, чтобы эта распря не перенеслась в следующие поколения. Я вижу этот стол под разноцветным фонарём, и это прекрасное собрание, где все любят друг друга.

Пётр Васильевич понимал её, он был такой же, как она. Их встреча не случайна. Они родные. Два их рода блуждали в запутанном прошлом, встречались на ярмарках, в благородных собраниях, в кровавых сечах, в тифозных лазаретах, на этапах. И вот теперь он и она встретились, и так чудесно перебиваются огни Садового в её близких глазах.

— Вы спасли меня тогда, выхватили из ледяной проруби и ушли. Я не успела вас рассмотреть. Потом всё старалась вспомнить ваше лицо. Рисовала вас, хотела уловить ваши черты. Ждала вас долгие годы. И вот вы появились. Вас привёл ко мне Пушкин, и теперь мы будем рядом. Я хочу помогать вам, служить вам. Поручайте мне любые задания. Я буду ходить по библиотекам, читать документы, исторические трактаты. Вы диктуйте мне свои мысли. Я буду записывать. Помогу вам написать вашу книгу. В мире столько чудесного. Наша встреча чудесна. И вы похожи на те портреты, которые я рисовала.

Пётр Дмитриевич больше не сопротивлялся. Верил, что действительно был тот сизый ледяной пруд, тряпичная кукла лежала на льду. Маленькая девочка осторожно скользила по льду, желая добраться до куклы. Был чёрный провал, чёрная бурлящая вода, девочка тонула, и он кинулся ей на помощь. Держал на руках, вынося из проруби, слыша, как раскалывается о живот кромка льда. Пётр Дмитриевич верил, что спас её, а теперь она спасала его.

Пётр Дмитриевич смотрел на Ирину, и видел, как таинственный свет пробегает по её лицу, делает это лицо прекрасным, родным, драгоценным. Он поднялся и, как во сне, приблизил свои губы к её пушистым бровям и дунул. Она тихо ахнула, захлебнулась, как захлебывается младенец, если кто-то любящий дунет ему в лицо. Чудесное мгновение налетело и кануло. Снова они сидели по разные стороны стола. Садовое катило бесщётные огни. И Пётр Дмитриевич не мог понять, что значило это преображение. Смущённо молчал.

— Мы опоздаем, — сказала Ирина. — Нам пора идти. — Тихо тронула его руку, словно пробуждала от сна.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Экспериментальный театр Даниила Величко помещался в особняке близ Садового. Он не имел вывески, лишь над входом горели неоновые серп и молот. В тесном фойе толпились люди. Пётр Дмитриевич и Ирина оказались стиснутыми множеством молодых людей, небрежно, порой легкомысленно одетых. Футболки, рваные джинсы, топики. Не было чопорных пиджаков и светских туалетов. У многих — значки с эмблемой серпа и молота.

Рядом с Петром Дмитриевичем стоял светловолосый парень — жёсткий бобрик, бритые виски, синие глаза. Такими в советские времена изображали на плакатах лётчиков. С ним дружески беседовал молодой человек с библейским носом, с чёрной бородкой, в которой шевелились красные жизнерадостные губы. Тут же находился якут, скуластый, раскосый, в красной футболке с символом серпа и молота. У всех было нетерпение, радостное возбуждение, предвкушение действия, в котором они будут не зрителями, но и страстными участниками.

Двери в зрительный зал открылись, Ирина и Пётр Дмитриевич медленно встали в полутёмный зал. Стучали кресла, люди плотно заполняли ряды.

— Всё это не просто представление. — Ирина наклонилась к Петру Дмитриевичу, и тот почувствовал чудесный запах её волос. — Все зрители — это духовная паства Даниила Величко. Активисты его движения “Атака смыслов”. Его спектакли — это магические сеансы, в которых участвует зал. Мы тоже станем участниками.

— Важно, что не я один, а вместе с вами, — ответил Пётр Дмитриевич, жалея, что голова её отклонилась, и чудесный запах стал неуловим.

Пётр Дмитриевич получил афишку и ознакомился с сюжетом пьесы, чтобы не потеряться среди множества символов, метафор и аллегорий, наполнявших спектакль.

Сцена являла собой чёрный провал, без единого огонька и луча. Это была бесконечность, из которой веяло жуткой тайной. Тайна пугала и завораживала. Зал замер, словно его затягивала “чёрная дыра” вселенной, где исчезают свет и материя.

Внезапно вспыхнул одинокий фонарь, зажгёт на сцене световое пятно. В это пятно шагнул возникший из мировой пустоты Даниил Величко. Он был строен и худ, поклонился с аристократической грацией. Имел узкое бледное лицо с заострённым носом и подбородком, жгучие глаза, которые жадно блуждали по залу и вдруг замирали, словно захватывали нужную цель, сосредотачивались на ней перед тем, как поджечь. Пётр Дмитриевич оглядывался в зал, опасаясь увидеть в рядах пылающего человека. Даниил Величко напоминал ракету с головкой самонаведения, прилетевшую в мир из чёрной бездны.

— Вы увидите спектакль с моей режиссурой и по пьесе моего сочинения “С земли на небо”, она повествует о заключительной драме Советского Союза. Это мистическая интерпретация заговора, который погубил “красный проект”. Большевики мечтали о Царствии Небесном, перехватив инициативу его достижения у Церкви. Они зацепили гигантскими рычагами Небесное Царство и стали опускать его на землю. Приближение Небесного Царства к земле сопровождалось грохотом пушек, лязгом гигантских строек, мольбами мучеников, песнопениями героев. Царство Небесное коснулось земли 9 мая 1945 года, в день Победы, когда ад был одолен раем. Этим раем был Советский Союз. Достигнув земли, Небесное Царство стало удаляться, и его удаление также сопровождалось грохотом пушек, лязгом разрушений, мольбами жертв и песнопением героев. Спектакль — не реквием по Советскому Союзу. Это магический акт воскрешения из мёртвых. Создавая движение “Атака смыслов”, я обещал вам воскресить Советский Союз. Сегодняшний спектакль — это мистерия, воскрешающая “красный проект” усилиями веры, воли, атакой смыслов, нашей коллективной молитвой. Всем тем, что возвращают в себе носители атакующих смыслов. Итак, начинаем!

Даниил Величко покинул световое пятно, растворился в царстве мрака, откуда ненадолго явился. Тьма оставалась непроглядной. Но в ней стали возникать тени. Двигались, как привидения, молчаливые фигуры, все в чёрном. Мертвенно белели лица и кисти рук, которые совершали таинственные вращения, словно крутили веретёна, пряли историческую нить. Среди фигур выделялась одна, в чёрной сутане. Она воздевала руки, приседала, вскакивала, крутилась волчком. Из афишки Пётр Дмитриевич знал, что это Горбачёв, который перед отъездом в Форос созвал соратников. Те водили вокруг него хоровод, то в одну, то в другую сторону. Приговаривали, грассируя:

— Кагавай, кагавай, кого хочешь, выбигай!

Соратники стали карабкаться по стенам, крутили под потолком сальто. Ссыпались вниз и предстали перед Горбачёвым в позе ласточек, устремлённых в полёт:

— В потёмках долго мы брели. Но в перестройке крылья обрели.

Горбачёв подпрыгнул, перевернулся в воздухе, встал на ноги и что есть мочи прокричал:

— Я уезжаю отдыхать в Форос. А вы в стране устройте мороз. Нам Ельцина немного подморозить. И перестанет он тогда елозить.

Горбачёв ухватил канат, свисавший с потолка. Ловко вскарабкался и взирал с высоты, слегка раскачиваясь. Пётр Дмитриевич был ошеломлён. Вопли актёров, которых поливали кипятком. Чудовищные стихи, написанные графоманом. Цирковые номера, полные скрытых символов. Всё казалось уродливым и фальшивым. Но в этом уродстве таилась необъяснимая привлекательность, влекущая подлинность, которая сначала отталкивала, а потом завораживала. Будила у Петра Дмитриевича воспоминания о “времени перемен”.

Действие на сцене развивалось. Маршал Язов разбежался, сделал двойное сальто и панически выкрикнул:

— В Москву немедленно я введу войска. Пусть пальцем он покрутит у виска!

Председатель КГБ Крючков лёг плашмя, вскочил, встал на руки и прокричал:

— Устал я от него, вот крест! Отдам приказ на Ельцина арест!

Зампред Совета обороны Бакланов, вращаясь на пятке, издал свиный крик:

— В моей груди горит большая рана. Он никогда не доберётся до “Бурана”!

Вице-президент Янаев показал стиснутые кулаки. Ударился головой об пол. Стал вальсировать, издавая львиный рык:

— В борьбе не дрогнет у меня рука. Меня напрасно он считал за дурака!

Министр внутренних дел Пуго ухватил висящий канат, стал раскачиваться, перебрисился на другой канат, словно это была тропическая лиана:

— Он пугало, не более того! Я ж Пуго, доберусь я до него!

Председатель передового колхоза Стародубцев сделал шпагат, затем мостик, затем встал на одну ногу, а другую задвинул себе за шею:

— Свершится месть народная должна! Узнает он крестьянского рожна!

Соратники выполнили свои упражнения и встали стенкой перед Горбачёвым, вращая руками, белея одинаковыми мертвенными лицами. Сам же Горбачёв поклоном благодарил соратников за исполненные трюки, прижал к груди белую пятерню, которая казалась гипсовым слепком:

— Ну что ж, товарищи, удачного вам дня. Максимовна Раиса ждёт меня!

Из верхнего угла сцены появилась Раиса Максимовна. Закреплённая невидимыми нитями, она шла по воздуху, перебирая ногами. Проплыла над головами государственных деятелей. Громко, по-журавлиному, прокурлыккала:

— Я дыры русские устала жить, латая. Наш “общий дом” — Европа золотая!

Сцена опустела. Чёрные тени растаяли. Зрительный зал ошеломлённо молчал. Пётр Дмитриевич хотел понять, почему столь сильно подействовал на него этот безвкусный лубок. В чём задача бесцеремонного вторжения в психику? В чём сила этой вульгарной атаки? Это был удар в подсознание, раздробивший личность. Измельчённая на осколки личность была бессильна сопротивляться любому воздействию. Беспомощно ждала этого воздействия. Была готова подчиниться сторонней воле. Это был магический сеанс закабаления души, отдающий душу во власть мага. А именно Даниила Величко.

Пётр Дмитриевич посмотрел на Ирину. Убедился, что и она оказалась подвержена магическому гипнозу. Хотел вывести её из транса. Но спектакль продолжался. В Москву по приказу Язова входят войска. По улицам грохочут танки. На сцене в потёмках перемещались какие-то чёрные кубы. Один

из них остановился, изображая танк, быть может, тот, что когда-то встал на улице Горького перед домом Петра Дмитриевича. Из чёрного куба выдвинулся отросток, означавший пушку. Появились три танкиста в тёмных балахонах. Стали кувыркаться на танке, отбивали чечётку, разухабисто распевали:

— Мы три танкиста, три весёлых парня. Держись, Москва, сгорит твоя пекарня!

Один танкист вскарабкался на плечи другому. Ему на плечи запрыгнул третий. Они образовали вертикаль, балансировали на танке, а потом рассыпали свою акробатическую фигуру. Стали чистить пушку невидимым банником, приговаривая:

— Забьём мы в пушку праведный снаряд. Держись, Москва! Держись, Охотный ряд!

К танку с букетиком цветов приблизилась проститутка. На ней было немного чёрного. Белело лицо, белели голые руки, белел живот, белели ноги. Проститутка стала целовать танк, протягивала танкистам букет, изгибалась вокруг незримого шеста:

— Танкистик милый, ты такой пригожий. Целуй меня и гладь меня по коже!

Танкисты подхватили проститутку, подняли на танк, стали передавать один другому. Проститутка крикала дикой уткой, мяукала тростниковой кошкой, ржала степной кобылицей:

— Ваш танк слегка походит на утюг. Доверьтесь мне, меня пустите в люк.

Проститутка скрылась в люке. Танкисты исчезли следом за ней. Поднялся страшный грохот. Танк подпрыгивал, его носило по сцене, он возносился ввысь, перевёртывался. Слышались стенания, молодецкие посвисты, музыка из опер, лязг гаечных ключей, вздохи слонихи, визг бензопилы. Наконец, всё смолкло. Бешеный танк успокоился. Из него появилась проститутка, белея наготой. Грациозно спустилась с танка, посылая утомлённому танкисту воздушный поцелуй:

— Танкистик милый, ты такой пригожий. Я в жизни не видала мягче ложа!

Утомлённые танкисты раскачивались, как водоросли:

— Поверь, мы уважать себя заставим. Букетик твой мы в вазочку поставим!

Танкисты засунули подаренные проституткой цветы в пушку. Пушка несколько раз чихнула. Пётр Дмитриевич почувствовал, что хочет чихнуть, но с трудом удержался. Он заметил, что сидящие в зале зрители уподобились актёрам. Когда танк танцевал и подскакивал, они тоже подскакивали, семеня ногами, громко хлопали креслами. Когда проститутка кричала дикой уткой, из зала раздавалось криканье. Когда со сцены звучало лошадиное ржанье, начинала ржать половина зала. Когда танкисты карабкались друг другу на плечи, несколько зрителей попытались исполнить такой же трюк. А уж когда танк, получивший в ноздрю букетик цветов, зачихал, весь зал стал чихать, словно всех просквозило.

Петра Дмитриевича поразила внушаемость зала. Люди, повинуясь, незримой воле, выполняли приказы мага, складывали свои усилия, создавали мощное поле, от которого у Петра Дмитриевича начинали подниматься волосы, словно их наполняло статическое электричество.

Ирина обморочно смотрела невидящими глазами, и казалось, она сейчас выпадёт из кресла.

— Очнитесь! Это иллюзия. Эффект внушения, — тронул её за руку Пётр Дмитриевич.

— Да, да, я знаю. Я держусь, — ответила Ирина.

Следующая сцена являла собой обочину Киевского шоссе, по которому Ельцин возвращался из служебной командировки. Отряд "Альфа" укрылся в кустах, поджидая кортеж. Командир отряда Карпунин ожидал приказа председателя КГБ Крючкова арестовать Ельцина. Бойцы подразделения, все в чёрном, лежали на полу, время от времени перекатываясь из стороны в сторону. Некоторые карабкались по стенам и вновь приземлялись. Командир

Карпухин раскачивался на канате, выходя на связь с Крючковым. Нарушая все правила конспирации, громко зывал:

— Я “Альфа”! “Первый”, “Первый”, отзовись! Мы Ельцину, пожалуй, скажем: “Брысь”!

Карпухин на канате переворачивался головой вниз, а его бойцы вскакивали, выбрасывали вперёд руки, целились из автоматов. Но Крючков не отзывался. Карпухин сетовал на молчание руководства:

— Приказа нет, хоть позывные те же. Я слышу приближение кортежа.

В темноте на шоссе один за другим появились тёмные бруски, изображающие машины Ельцина. Карпухин перелетел с одного каната на другой. Опустился на землю и встал на руки:

— Мы “Альфа”, а не просто бедолаги. Приказа нет. Повисли наши флаги.

Бруски приблизились, миновали засаду. Карпухин лёг на спину, поднял вверх одну ногу и прокричал:

— Приказа нет, в душе разверзлась брешь. Мы пропускаем Ельцина кортеж.

Карпухин сделал двойное сальто и увёл отряд с обочины. Бойцы, извиваясь, уползли и скрылись. Чёрные бруски, изображавшие кортеж, остановились. Из бруска появился Ельцин. Он был в чёрном, только белели руки. Он вращал руками, прятал нить истории:

— Ни “Альфы” нет, ни “Беты”, никого! Ты, Горбачёв, узнаешь, каково!

Ельцин повернулся к чёрному бруску, отыскал у него колесо и помочился на колесо:

— Ты, Горби, миру предпочёл вражду. Теперь я справлю на тебя нужду!

Ельцин погрузился в чёрный брусок, и машины умчались в Москву.

Петра Дмитриевича ужасала постановка и одновременно завораживала. Так завораживает спектакль в сумасшедшем доме, где роли играют пациенты. В безумии сюжета и исполнения был таинственный магнетизм. Он затягивал зрителя, делал соучастником безумного действия. Зрители сходили с ума, превращались в умалишённых. Чёрно-белая эстетика спектакля рождала цветные галлюцинации, яркие сновидения. Уснувшая память вдруг начинала возвращать детали, которые промелькнули когда-то и были навеки забыты. Но теперь возвращались.

Пётр Дмитриевич вдруг вспомнил, как в роковую ночь шёл по Мясницкой к Лубянке, где слышался рёв толпы, сносившей с пьедестала Дзержинского. И мимо промчался мальчик на роликах, весь усыпанный мигающими огоньками. Восхищённое лицо, мерцающие светляки — он казался вестником иного мира, несущим в обезумевшую Москву благую весть. В ту же ночь изнурённый Пётр Дмитриевич пришёл к Москва-реке у Китай-города. На гранитном спуске у воды толпились голые люди, мужчины и женщины. Их обвислые груди, выпученные животы, худые ребра. Один из них черпал консервной банкой воду, поливал других, и те фыркали, подмывались, терли свои грязные тела и прокопченные лица. Это были бомжи, спустившиеся к водою. Было что-то библейское в этих людях, бродивших по пустыне и теперь вкушавших благословенную влагу.

И ещё вдруг вспомнил Пётр Дмитриевич, что Фаддей, стоявший на стремянке и сбивавший зубилом золочёные буквы с фасада главного партийного дома, был обут в белые башмаки с ярко-красными шнурками. Эти красные шнурки вдруг больно поразили Петра Дмитриевича.

Об этом он вспомнил, оставаясь соучастником колдовского действия. На сцене снова был чёрный брусок, изображавший танк. Из пушки торчал знаковый букетик. Танкисты раскачивались, наклонялись, поднимали ноги, словно делали утреннюю гимнастику. Вокруг танка в темноте колыхалась толпа. Люди вскакивали один другому на плечи, создавали пирамиды, рассыпали их, маршировали, сцепив руки, бежали змейкой мимо танка.

Толпа расступилась. На танк поднялся Ельцин. Он обнял танкистов. Поскакал на одной ноге. Покрутил руками, вращая веретено истории, и обратился к народу:

— Я обращаюсь к вам, народ России! Вы видите, подобен я мессии. Едини мы и дружно протестуем. Мы заговорщиков, не медля, арестуем!

Чёрная толпа воздела множество белых кулаков, повторяя за Ельциным:

— Арестуем! Арестуем!

Ельцин вытащил из пушки букетик цветов:

— Ко мне навстречу движутся народы. Дарю России сей букет свободы!

Ельцин бросил цветы в толпу. Толпа встала на руки и, образуя колонну, покинула сцену.

Действие перенеслось в Форос, куда прилетели заговорщики искать у Горбачёва защиты. Вице-президент Янаев, делая балетные па, подлетел к Горбачёву, в прыжке ударил ножкой о ножку:

— Родной Сергеич, нас перехитрили. Случился невзначай какой-то триллер!

Маршал Язов ловко прошёл по канату, подскочил к турнику и стал крутить “солнце”, сотрясаясь от хохота:

— Я не желал свершать переворот. Пусть подтвердят все сто десантных рот!

Зампредседателя Совета обороны Бакланов сделал мостик, сел на шпагат, замер в позе лотоса. Не открывая рта, утробным голосом произнёс:

— Мы обратимся с просьбой к ветеранам. Тому свидетели “Энергия” с “Бураном”.

Председатель КГБ Крючков стал выбрасывать вперёд ноги, как танцовщица кабаре, посылая воздушные поцелуи:

— Я не отдал приказ стрелять в паскуду, и оттого стране любезен буду.

Председатель колхоза Стародубцев походил на четвереньках, стал чесаться, ударился головой о стену, заблеял козой, прокричал петухом, замыкал кошкой, а потом спокойно произнёс:

— Сергеич, друг, быстрее соображай. Ужо богатый будет урожай!

Министр МВД Пуго подполз к Горбачёву по-пластунски, сделал книксен и страшным голосом проревел:

— Как ваша драгоценная супруга? Она на пляже? Ей привет от Пуго!

Вице-президент Янаев отскочил от униженных и согбренных соратников, указывая на них протестом:

— Погибли вы, но доля мне иная. Там — это вы, а это я, Янаев!

Горбачёв строевым шагом обошёл просителей. Кинулся на стену, вскарбкался под потолок и оттуда десять раз прокричал кукушкой:

— Ступайте прочь, несчастная братва! Вы не цветы, вы чахлая ботва!

Заговорщики построились в клин и стали махать руками, изображая улетающих журавлей:

— Несчастные мы партии сыны. Открыта дверь Матросской тишины!

Горбачёв махал влед улетающему косяку. В верхнем углу сцены появилась Раиса Максимовна. Она плыла по воздуху, перебирая ногами:

— Досталось вам, тупицы, поделом. Теперь, глупцы, тюрьма — ваш общий дом!

Появились конвоиры и погнали журавлиный клин в Матросскую тишину. Раиса Максимовна вновь возникла в воздухе, похожая на бабочку-траурницу:

— Мне кажется, теперь иду ко дну я. Уеду жить в Германию родную.

Раиса Максимовна покинула сцену. Из сумерек, куда она удалилась, трижды прокричала сова.

Пётр Дмитриевич почти освободился от чар, навеянных магом Даниилом Величко. Спектакль напоминал чёрно-белый рентгеновский снимок, в котором отсутствовала живая плоть, а оставался мучнистый скелет. Петру Дмитриевичу становился понятен замысел Даниила Величко, который был специалистом по управлению историей. Даниил Величко полагал, что поправка, внесённая в прошлое, скажется в настоящем и будущем. Спектакль был операцией, которую Даниил Величко совершал на историческом времени. Он извлекал из прошедшего времени скелет. Рентгеновский снимок, коим являлся спектакль, освобождал историческое время от живой плоти, оставлял каркас. Вся драматургия, эстетика, весь замысел был направлен на то, чтобы

выделить из живой исторической ткани её каркас. Не дать этой ткани вновь поглотить скелет. Все истошные вопли, жесты, скачки являлись способом отогнать живую плоть от скелета. Скелет становился объектом воздействия, оказывалась на операционном столе. Маг, словно костный хирург, вносил в него коррекцию. В историческое время встраивалась поправка. Когда поправка приживалась и магический приём воплощался, живая историческая плоть вновь поглощала скелет. Но уже изменённый, несущий поправку. История продолжалась, но в её глубине таилась поправка. Направляла историю в другую сторону. В ту, что была угодна магу.

Действие пьесы перенеслось в Беловежскую пушу, где собрались Ельцин, Кравчук и Шушкевич, готовые подписать акт о роспуске Советского Союза. Они сидели за столом, все в чёрном. Только двигались белые кисти рук, ткани историческую канву. Шушкевич достал бутылку с самогом, несколько раз подбросил в воздух, как жонглёр, и принял на голову. Протянул Ельцину:

— Давай, Борис, налей борща погуще. Пьём на троих мы в Беловежской пуше!

Кравчук взял стакан, набрал в рот самогон и окропил Ельцина и Кравчука. Стал танцевать, обнимая невидимую даму:

— Мы отпусаем в прошлое Союз. И он уходит под негромкий блюз.

Ельцин поднял лицо вверх, откуда медленно спускалось полотнище:

— И Родине, и флагу был я верен. Был жеребец, а стал бессильный мерин.

Все три Президента, обнявшись, стали танцевать джигу:

— Воскликнем троекратно “Ура”! Где был Союз, там чёрная дыра!

Раздался страшный грохот, скрежет, визг. Стреляли пушки, слышалось отдалённое “Ура!” Звучали обрывки советских песен, картавый голос Ленина, сталинская, с грузинским акцентом речь.

И вот всё смолкло. Возникла чёрная пустота, страшная и немая. Зал омертвело молчал, взирая в бездну, в “чёрную дыру” мироздания, куда канула “красная страна”. Зажёгся одинокий фонарь. На сцене возникло пятно света. И в этом пятне возник Даниил Величко. Он был в чёрном трико и в ластах, как аквалангист, который собирается нырнуть в чёрную пучину. Он стал извиваться, словно протискивался в тесную скважину. Напрягал бицепсы, мускулы бёдер, икры, которые дрожали под шелковистой тканью. Его руки рыли пустоту, словно хотели нащупать глубинный нерв Вселенной, таинственную жилу, по которой катится гигантский ток Мироздания. Он издавал загадочные звуки, напоминавшие курлыканье океанских касаток, бульканье мирового планктона. Он заклинал, умолял:

— Приди на помощь, солнце и луна! Воскресни, драгоценная страна!

Зал вторил магу. Зрители тянули руки, стараясь нащупать в “чёрной дыре” сокровенную жилу. Помогали кумиру. Вливали в него свои силы. Отдавали ему свои души, которые маг направлял в чёрную бездну, стремясь преодолеть тьму. В чёрной пустоте стали являться тени. Они носились в воздухе, оседлав невидимые мётлы. Пикировали на Даниила Величко, словно хотели отогнать от своего гнезда, не позволяли ухватить сокровенную жилу. Даниил Величко отмахивался от назойливых ведьм:

— Пусть этот страшный чёрный хоровод навеки скроется в пучине чёрных вод!

Даниил Величко нащупал скрытый в мироздании электрод. Страшный удар сотряс его. Он издал вопль, словно в него попала разрывная пуля. Руки его сжимали электрод. Электричество било его. Он сотрясался, стонал. Зал вторил ему. Кругом сотрясались тела, по которым пробегала страшная электрическая синусоида.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как плещет в его теле жуткая волна. В нём лопались вены, трещали хрящи, разбухало сердце. И только “Таблица Агеева”, спрятанная под сердцем, не давала Петру Дмитриевичу умереть. Отражала удары космического электричества.

Даниил Величко воздел к небу руки, вымаливал, выкликал:

— Пусть засверкают огненные воды и вновь воскреснут мёртвые народы!

Даниил Величко замер, вытянул вперёд руки, наложил белеющие ладони на невидимую стену. Толкал её, смеялся, хотел сдвинуть с места грузённый тяжкими глыбами состав. Его тело содрогалось, из ушей лилась кровь. Он совершал чудовищные усилия, стремясь обратить историческое время вспять, совершить акт воскрешения.

Зал помогал своему кумиру. Все вытянули руки, стремились сдвинуть с места окаменелое время. Обратить вспять историю.

Пётр Дмитриевич видел, что Ирина, подобно остальным, вытянула руки и толкает грузённый историческими глыбами состав.

— Помогите, помогите ему! — обратилась она к Петру Дмитриевичу. — Ведь в вашей “Таблице” есть “русский код воскрешения”!

Пётр Дмитриевич видел её страдающее лицо, умоляющие глаза. “Таблица” сверкала в сердце, как золотая Богородица. Пётр Дмитриевич извлёк крохотную золотую частицу. Частица была “русским кодом воскрешения”. Тем русским упованием на чудо, которое каждый раз воскрешало падшее Государство Российское, преображало уныние в радость, печаль в ликование, смерть в бессмертное царство.

Пётр Дмитриевич направил золотой лучик в чёрную бездну. И вдруг хлынул ослепительный свет. Сцена озарилась, и на ней во всей ликующей красоте, в золотом великолении возник фонтан “Дружба народов”. Золотые богини сошлись в царственный круг. “Живая вода” хлынула ввысь, переливалась драгоценными радугами. Даниил Величко раскрыл объятия золотым лучам и радужным водам:

— Страна воскресла, наш Союз бесценный! Пусть это будет завершеньем сцены!

В зале зажгётся свет. На сцену вышли артисты. Теперь они были не в чёрных хламидах, а в ослепительных шелках и парче. Так появляются священники в пасхальную ночь. Все кинулись обнимать торжествующего режиссёра, небывалого чародея, которому подвластны времена и царства.

Пётр Дмитриевич смотрел на Ирину, и она казалась ему прекрасной, драгоценной, любимой. Он чувствовал, как из глаз у него текут слёзы.

Он отвёз Ирину домой на Сретенку, в одну из тех улочек, что спускались к Цветному бульвару. Простился у шлагбаума, преграждавшего въезд во дворик. Привлёк к себе и поцеловал в пушистые брови, слыша чудесный аромат её волос. Ирина тихо и оттолкнулась от него, как отталкивается лодка от берега, и убежала в темноту, где желтели окна её дома. Пётр Дмитриевич тихо пошёл к машине, улыбаясь, чувствуя на губах её пушистые брови.

Он сел в машину, когда трое в кашпонах набежали, толкнули, ударили. Один откупорил стеклянную банку и плеснул на него зловонную жижу. Нечистоты потекли по голове, по лицу, пропитали рубаху, струились по животу. Пётр Дмитриевич не сумел рассмотреть лица хулиганов. Лишь мелькнули усы щёткой, и Пётр Дмитриевич угадал в нападавших трёх усачей, что курили в сигарном клубе, а потом преследовали его в Новом Иерусалиме.

Жижа нестерпимо воняла. Он совлёк рубаху и кинул на землю. Влез в машину и, задышав, вёл её, голый по пояс, добираясь в свой загородный коттедж.

Дома он долго мылся под горячим душем, ещё и ещё раз поливая себя шампунем. Он был осквернён, унижен. С ним воевали жестоко и беспощадно. Оскверняли не его, а сиявшую в сердце икону — “Таблицу Агеева”.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром, поедая пуританский завтрак, Пётр Дмитриевич по обыкновению делился с котом Кузьмичом ломтиками бекона. Кот не притрагивался к даянию. Молча смотрел на Петра Дмитриевича золотыми глазами. Кот знал о вчерашнем нападении. Чувствовал, как унижен и оскорблён Пётр Дмитриевич, как попрано его достоинство, надломлена воля. Взгляд золотых немигающих

глаз был полон не сочувствия, не сострадания. Этот взгляд требовал от Петра Дмитриевича воли и стоицизма. Требовал мужества. Ибо “Таблица”, за которой охотились злоумышленники, принадлежала им обоим. Кот Кузьмич был хранителем драгоценной “Таблицы”. Сберегал дубликат “Таблицы” в своём кошачьем сердце, как Пётр Дмитриевич хранил подлинник в своём человеческом сердце. Пётр Дмитриевич был благодарен Кузьмичу за этот ободряющий взгляд. Воля Петра Дмитриевича и кота Кузьмича не были сломлены. Оба посвятили себя святому русскому делу — сберегали “Таблицу Агеева”, которая совершит воскрешение русского народа.

Интернет пестрел сообщениями о вчерашнем осквернении. Либеральная газета “Макрос” поместила фотографию, где человек в капюшоне льёт на голову Петра Дмитриевича нечистоты. Лица налётчика не было видно, зато лицо Петра Дмитриевича выглядело испуганным и несчастным. Автор, имевший псевдоним “Риббентропус”, издевался над Петром Дмитриевичем. Повторял известное высказывание патриарха Тихона: “По мощам и елей”. Шутил: “Мечты сбываются”, “Фашист с душком”. Фотографию перепечатали другие издания.

Пётр Дмитриевич пугался того, как много у него ненавистников. Как пристально следят они за его перемещениями, как оплетают паутиной вражды. Но воля его оставалась незыблемой. Золотые глаза кота требовали от него стоицизма, сбережения дара, которым наградил их обоих Господь, — “Таблицы Агеева”.

Зазвонил телефон. Фаддей торопился высказать Петру Дмитриевичу своё возмущение:

— Знаю этих мерзавцев! Помнишь усатых тараканов в курильне? Агенты, разведчики, работают против тебя. Хотят вырвать из тебя “Таблицу Агеева”. И та статья про фашизм, и эта гадкая атака! Одна цель — выбить из тебя “Таблицу”!

— Ты считаешь, что Америка присылает в Россию агентов, чтобы они раздобыли “Таблицу”? Не велика ли честь?

— Ты не представляешь, Петрусь, чем ты владеешь! Советская разведка украла у американцев атомную бомбу. Американцы хотят украсть “Таблицу”. Это стратегическое оружие! А ты один, без охраны! Приезжай, нам нужно поговорить. Ты в опасности!

— Куда приезжать?

— В геологический музей, на Моховую. Жду тебя через час!

У Петра Дмитриевича вдруг задрожали руки. Взрывная волна через много лет прилетела из Герата, и Пётр Дмитриевич ощутил толчок старинного взрыва.

Через час он стоял перед входом в музей. Моховая лилась в слепящем блеске машин. Заливались полицейские сирены, брызгая шальными синими вспышками. Кремлёвский дворец, янтарный, с отложными воротниками кружевных наличников, парил над розовой зубчатой стеной.

Фаддей бежал навстречу Петру Дмитриевичу, словно выпал из этого блеска, вихрей, истошного воя сирен.

— Как я рад, как я рад! Надо было раньше увидеться! — Фаддей обнимал Петра Дмитриевича, покалывая щегольской бородкой.

В вестибюле их встретил привратник. Почтительно обратился к Фаддею: — Вам кофе или чай, Фаддей Аристархович? Пригласить директора?

— Нет, нет, Степаныч, мы с другом совершенно приватно! — Было видно, что Фаддей здесь не первый раз, пользуется расположением персонала.

Зал окаменелостей, куда привёл Петра Дмитриевича Фаддей, был уставлен стеклянными шкапами и витринами. В них лежали каменные глыбы с оттисками реликтовых растений и животных.

— Я расколол сиреневую глыбу. Она была рассыпчатой и зыбкой. И я увидел каменную рыбу. Она смотрела на меня с улыбкой, — Фаддей продекламировал четверостишие, видимо, сочинённое им самим. Указал Петру Дмитриевичу на кусок рассечённого камня. Внутри камня была пустота, повторявшая очертание остроносой доисторической рыбы. Так в футляре для скрипки находится полость, повторяющая контуры скрипки.

— Ты кто, палеонтолог? — Пётр Дмитриевич досадовал на Фаддея, который затащил его в этот малолюдный музей.

— А вот ещё, смотри!

Под стеклом лежали камни, похожие на футляры, в которых темнели полости от исчезнувших креветок, птиц, стрекоз. На песчаниках виднелись отпечатки листьев, стеблей, плодов. На окаменелом дереве круглились древесные кольца, по которым можно было судить о дождливых или засушливых годах, притаившихся в толщах древних эпох.

— Это каменные ларцы, в которых на землю из неба упала жизнь. — Фаддей наклонился к витрине. Стекло туманилось от его дыхания. Казалось, он хочет вдохнуть жизнь в эти мёртвые отпечатки. Пётр Дмитриевич съязвил:

— Может, и нас с тобой принесло на землю в каменных саркофагах? Мы встали, отряхнулись и пошли гулять по Моховой?

— Как знать, как знать! — таинственно произнёс Фаддей, бережно поведя рукой над серым песчаником с отпечатком древней рябины, — длинные листья, гроздь ягод.

Пётр Дмитриевич вдруг увидел ночное небо, огненный камнепад. Камни падали на землю, раскалывались, и из них вылетали стрекозы и птицы, выплескивались в моря и реки рыбы. Разламывались с треском громадные валуны, и выскакивали олени, медведи, волки. Стада животных неслись по земле, над ними мчались птичьи стаи. Всё небо переливалось радугами, сверкало от падения огненных камней, несущих на землю жизнь.

В соседнем зале хранились минералы. Великолепно сияли прозрачные кристаллы кварца. Золотились гроздья горного хрусталя. Восхитительны были аметисты, сапфиры, изумруды. Пылали россыпи алмазов, аквааринов, сердоликов. Глыбы малахита и яшмы, пластины чёрной и белой слюды. Это были каменные цветы, сорванные в небесном райском саду. Фаддей восхищённо созерцал соцветья, вдыхал ароматы рубинов, протягивал пальцы, боясь коснуться каменных лепестков.

— Теперь ты понимаешь, что видел Гумилёв, когда писал: “Это Млечный путь расцвёл неожиданно садом ослепительных планет”? За минуту до расстрела ему открылось дивное небо!

Фаддей вёл Петра Дмитриевича вдоль стеклянных витрин, в которых, как в оранжереях, пламенели соцветья.

— Я каждому из этих каменных цветков дал имя. Это Менделеев, — Фаддей указал на кристалл полевого шпата с туманной радугой. — Это Андрей Боголюбский, — он подвёл Петра Дмитриевича к россыпям граната. — Это Лесков, — пальцы Фаддея казались золотистыми в отсветах прозрачной слюды. — Это Калашников, — он тронул слиток медного колчедана. — А это Марфа Посадница! — Фаддей, умилённый и нежный, послал воздушный поцелуй фиолетовому аметисту.

Пётр Дмитриевич помнил, как в Афганистане Фаддей выводил его из палатки, и они любовались звёздами. Фаддей называл себя небесным пришельцем, и тогда это казалось фантазией молодого солдата. Теперь же, с обожающими глазами, молитвенными возгласами, он был похож на жреца этих небесных святынь.

— Я уехал в Америку и жил там припеваючи. Прекрасная работа. Свой дом, отличный заработок. Лучшие библиотеки мира. Великолепные перспективы. Но звёздное небо чужое. Нет русских звёзд. Нет той звезды, с которой я спустился на землю. Вернулся в Россию, чтобы жить под русскими звёздами.

Фаддей поверял Петру Дмитриевичу свою сокровенную тайну — любовь к звёздной России.

— Теперь иди за мной. За этим тебя и позвал!

Они перешли в следующий зал. Фаддей от порога направился в дальний край зала. Там, на деревянном постаменте, озарённый светильником, лежал метеорит. Он был чёрный, огромный, с выпуклостями и вмятинами, весь в оспинах, в ряби застывшего кипятка. Он кипел, когда продирался сквозь атмосферу Земли. Упав, продолжал кипеть, остывая, сохранил отпечаток

космического ветра. Пётр Дмитриевич ощутил таинственное дуновение, исходящее от метеорита. Так излучение звёзд касается ночного цветка, и тот слабо вздрагивает, тревожа уснувшую в соцветье пчелу.

— Ты чувствуешь? Чувствуешь? — Фаддей заглядывал в глаза Петру Дмитриевичу. — Метеорит нашли под Сталинградом у хутора Бабурки. В этом месте шли страшные бои, смыкалось окружение армии Паулюса. После войны саперы разминировали берег реки Россошки. Их миноискатели зашкалили, и они нашли этот железный метеорит. Ученые привезли его в Москву и поместили в музей. Но они не догадывались о тайне этой находки.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как сладко дрогнуло сердце, словно кто-то божественный поцеловал его в грудь. “Таблица” драгоценно переливалась, будто в груди трепетала невидимая бабочка.

— Ты чувствуешь эту сладость? Чувствуешь это волшебство? — вопрошал Фаддей. — Так сердце чувствует приближение к родному дому. Этот чёрный кусок космической стали — наш родной дом, Петрусь. Он прилетел с нашей космической Родины. Он принёс на землю молекулу, от которой повелась вся русская история, вся русская культура, вся русская судьба!

Фаддей восхищённо, с благоговением смотрел на метеорит, как смотрят на чудотворную икону, не решаясь к ней приложиться. Петру Дмитриевичу не казались безумными слова Фаддея. Он испытывал к метеориту влечение, нежность, обожание. Перед ним была его небесная Родина. Этот чёрный, изъеденный Космосом метеорит был небесной Россией. Фаддей извлек из кармана трубку с линзами. Прижал окуляр к глазу. Стал водить трубкой по изъеденной поверхности метеорита:

— Ты посмотри, Петрусь! Хрестоматия всей русской цивилизации! Отсюда век за веком изливалась русская жизнь, исходили русские полководцы, правители, художники. На этом метеорите записана программа Русской истории от “Повести временных лет” до наших дней, и дальше, события русского будущего. Посмотри! — Фаддей передал Петру Дмитриевичу окуляр. Тот приблизил линзу к расширенному глазу и приник к метеориту. И возникло бело-голубое видение храма Покрова на Нерли, его бесподобная красота, божественная женственность. Храм был крохотной инкрустацией на чёрной железной глыбе, и отсюда сошёл в зелёные луга и голубые воды русской равнины. Пётр Дмитриевич передвинул стекло, и возникла сталинская высотка университета, магический замысел вождя, окружившего Москву таинственными вертикалями. Ещё смещение окуляра, и появился конструктивистский шедевр Мельникова, похожий на броневик, жестокий и великолепный.

Пётр Дмитриевич водил окуляром по щербатому метеориту, и в стекле всплывали рублёвская “Троица”, берестяная новгородская грамота, картина Дейнеки “Атака под Севастополем”, “Медный всадник” на Сенатской площади. Это были волшебные коды русской истории, задуманные на небесах. Они пролетели миллионы световых лет, коснулись земли и сотворили Россию. Пётр Дмитриевич водил окуляром по метеориту, и в каждой тёмной щербинке, в каждой стальной лунке возникало видение. Патриарх Никон на древней парсуне. Баснописец Крылов. Бородатый Курчатов. Суворов. Все они были задуманы в небесах, каждый в свой черёд исходил из метеорита, ступал в русскую историю, наполняя её грохотом пушек, дивными песнопениями, бессмертными деяниями.

Пётр Дмитриевич не мог оторваться от созерцания. “Таблица” в его груди трепетала, ликовала. Метеорит был “Таблицей”, сотворившей Россию. “Таблица” прилетела с небес, и Пётр Дмитриевич носил под сердцем метеорит.

— Теперь ты знаешь, где наш отчий дом? Где наша небесная Родина? — Фаддей принял от Петра Дмитриевича окуляр и сунул в карман. Лицо Фаддея казалось нежным, восхищённым, словно он слышал волшебную музыку и хотел, чтобы небесные звуки услышал Пётр Дмитриевич, его друг, единомышленник, соотечественник по небесному Отечеству.

— Ты тронь его, он живой. Вдохни аромат небесного цветка.

Пётр Дмитриевич коснулся метеорита. Ладонь ощутила тепло, исходящее из глубины железного слитка. Казалось, он трогает лоб ребёнка. Пётр Дмитриевич склонился к метеориту и вдохнул воздух. У него закружилась голова. Он уловил аромат материнских духов, тех, что сохранились в складках её синего платья. Уловил миндальный запах заповедного шкафа с подшивками “Аполлона” и “Весов”. Почувствовал запах “Бурана”, прилетевшего из небесной пекарни. Повеяло медовой сладостью цветущей ивы. И чудесно, божественно опьянил его аромат женских волос, которых совсем недавно он касался губами.

— Ты чувствуешь? Узнал свой дом? — Фаддей обнимал Петра Дмитриевича за плечи, как родного брата. — Ты знаешь, как я нашёл этот метеорит? Я работал в Калифорнии, в Беркли. Сидел в библиотеке. Изучал ордена Российской империи и советские награды. Исследовал описания Куликовской сечи, Бородинского сражения, битвы на Курской дуге. И чувствовал, как в окно с видом на парк, где пальмы, кипарисы, секвойи, дует на меня какой-то загадочный ветерок, слабый сквознячок, доносится беззвучный зов: “Лети в Россию! Лети в Россию!” Как наваждение! Бросил всё, недописанную диссертацию, дом, любимую женщину, блестящую карьеру. Сел на самолёт и — в Россию. Лечу в самолёте, а в сердце словно какой-то компас. Стрелочка ведёт по магнитной линии: “Домой! Домой!” Сел в Шереметьево и сразу с аэродрома, всё по той же магнитной стрелочке бросился искать невидимый магнит. Колесил на такси по Москве, по Тверской, по Лубянке, по набережным. Зов то сильнее, то слабей. “Горячо, холодно. Теплее, холоднее”. Бросил такси, бегу мимо “Метрополя”, Большого театра, мимо Думы. “Кто ты? Где ты?” И вдруг бесцветная вспышка, стою перед входом в музей. Вбегаю, привратник Степаныч меня не пускает: “Купите билет”. Я сунул ему сто долларов, влегаю в зал, и вижу это чудо! — Фаддей указал на метеорит. — Он был не чёрный, а сверкал, как бриллиант. Я испытал такое ликование, такое небывалое счастье. Кинулся его целовать, разрыдался и упал без сознания. Степаныч отпаивал меня водой, а я целовал метеорит и плакал! Ведь это мой отчий дом, моя Родина!

Петру Дмитриевичу рассказ Фаддея не казался безумным. Он и сам испытывал эти ослепительные потрясения, когда ему открывался ещё один “русский код”, и возникла золотая Богородица, праматерь русской земли.

Они стояли с Фаддеем перед осколком чёрной небесной скалы. Воздух вокруг метеорита слабо золотился. В зале осторожно появлялся привратник Степаныч и так же осторожно удалялся, убеждаясь, что в нём нет надобности.

— Теперь услышь великую тайну, которая была открыта немногим, и большинство из них умерло, а у тех, что живы, уста запечатаны. — Фаддей сжал губы, словно на них лежала сургучная печать. Усилием воли сломал печать и заговорил: — В этом метеорите, в его железной глубине, в самой сердцевине находится вход в нашу небесную Родину. Там врата с железными запорами, ведущие в рай. Можно прочесть волшебные заклинания, разбежаться и молнией вонзиться в метеорит, достичь райских врат и войти в звёздный чертог. Мудрецы и учёные ломают голову, как достичь звёздных миров, сколько тысяч лет космонавты будут лететь. Усыпить их или отправить в Космос оплодотворённую яйцеклетку, чтобы через тысячу лет полёта запустить возрастание эмбриона? Всё напрасно, всё неправдоподобно. Одно мгновение, и ты пролетел сквозь галактики и оказался в раю, в своём небесном чертоге. Все религии, все верования, Египет, шумеры, зороастрийцы, мусульмане, христиане — все говорят о небесной прародине, о небесном царстве, откуда люди явились на землю и куда непременно вернуться.

Пётр Дмитриевич был поражён. Его коснулась великая истина, которую он не смел отрицать, а принимал на веру её восхитительную достоверность. Фаддей открыл эту истину раньше, одарил ею Петра Дмитриевича, был учителем, который звал за собой. И Пётр Дмитриевич готов был идти.

— Волшебные заклинания, о которых я говорил, — это твоя “Таблица”. “Таблица Агеева”. “Русские коды” — это золотые крупицы, которые

собирал русский народ в поисках Беловодья, готовясь к обретению рая. Вся русская история — это собирание волшебных кодов, способных распахнуть стальные врата и выпустить народ в рай. Русская история — путь в небо!

— Ты прав! Ты прав! Русские — люди неба, — вторил Пётр Дмитриевич. Он знал это всегда. Скрывал это знание, боясь насмешек, злобных глумлений. Хранил это знание в своей одинокой душе, обречённый на молчание. Но теперь молчание кончилось. Рядом был брат, с которым так сладостно говорить о небе.

— Эти коды знали русские святые. Знал Пересвет. Знал Александр Матросов. Знал народный святой Евгений Родионов. Эти коды знал Сталин. Он готовил народ к полёту в небо. Народ — экипаж, готовый взлететь на небо. Сталинские пятiletки, строительство заводов, стахановцы, полёт через Северный полюс, сталинские песни, “Рабочий и Колхозница”, “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...”, “Страна мечтателей, страна учёных...”, “И вместо сердца пламенный мотор...”. Советский Союз был огромным космическим кораблём, готовым лететь к звёздам. И он взлетел к звёздам, коснулся неба. Сталин со времён обороны Царицына знал о метеорите. Знал, что он лежит на дне речки Россошки у хутора Бабурки. Знал о райских вратах. Гитлер тоже знал о метеорите. Ему рассказали о нём немцы Поволжья. Гитлер посылал тайные экспедиции “Аненербе” в низовья Волги на поиски метеорита. Он хотел захватить русский рай. Битва за Сталинград была битвой за метеорит. Гитлер проиграл, а советский народ взлетел в небо. Он коснулся неба 9 мая 1945 года, в день Победы. Тогда народ коснулся небес и был готов войти в Небесное Царство. Не удержался на небе и рухнул! Но небо коснулось земли. И там, где оно коснулось, там выросла огромная берёза. Древо, через которое силы небесные льются на русскую землю и возвещают упавшему и разбившемуся народу, что он по-прежнему небесный народ и снова поднимется на штурм неба!

Петра Дмитриевича не изумляла картина истории, начертанная Фаддеем. Взгляд историка определяется окуляром, сквозь который смотрит его око. Око Фаддея смотрело сквозь магический кристалл волшебного самоцвета, одного из тех, что сияли в витринах соседнего зала.

— Ты понимаешь, чем ты владеешь, Петрусь? Твоя “Таблица” — это пропуск в Небесное Царство! Тебе дан ключ от стального запора. Приложи своё сердце к метеориту, он растворит свои тайные врата, и мы войдём в рай!

Пётр Дмитриевич потянулся к метеориту. Сердце восторженно билось, “Таблица” трепетала тысячью золотых частиц, которые наполнили зал, покрыли лицо Фаддея сказочной позолотой.

— Не сейчас, не теперь. — Пётр Дмитриевич отступил от метеорита, боясь, что сердце его разорвётся. — Ещё не готов. Ещё несколько последних кодов. И маленький ключик, который сообщит “Таблице” её чудодейственные свойства.

Они стояли у метеорита, от которого исходило тепло. Так запущенный реактор останавливают, не дав ему накалиться.

— Ты, Петрусь, в опасности. За тобой охота. Хотят отнять у тебя “Таблицу”. Не дать русскому народу воскреснуть. Не позволить русским сплотиться в экипаж и вновь штурмовать небо. В Беркли создано спецподразделение, которое занимается только тобой. Читает твои статьи, смотрит передачи, анализирует твои знакомства и встречи. Они знают о твоём визите к космисту Богданову. Знают о Новом Иерусалиме, где ты нашёл русское Древо Познания Добра и Зла. Они клеветают на тебя, ломают твою волю, грозят уголовным преследованием. Возможно физическое нападение. Их много. Некоторые уже приблизились к тебе вплотную. Эраст Богоносцев и его блудливая невеста Ксения Фалькон — они любезны с тобой, приглашают на свадьбу. Всё это множество журналистов, телеведущих, критиков, политологов, экстрасенсов, которые атаковали тебя на вечеринке “Эхос Мундус”. Они будут жалеть тебя, язвить, выманивая у тебя “Таблицу”.

— Но откуда ты это знаешь? Ты с ними связан?

— Я работал в Беркли, и у меня остались источники. Я вернулся

в Россию не только смотреть на русские звёзды. Но для того, чтобы тебя сбегать. Ты мой фронтальной друг. Нас ослепил один и тот же взрыв. Он расколол наш мозг, и мы получили откровение. Тебе открылась “Таблица”. Я приблизился к ней, но “Таблица” мне не открылась. Но теперь мы вместе, и твои откровения становятся моими. Мы сбережём “Таблицу”. Ты откроешь ещё несколько кодов, отыщешь заветный ключик, и мы вернем русскому народу Мечту, поведём его на шторм неба. Ты меня слышишь, Петрусь?

— Слышу, — восторженно воскликнул Пётр Дмитриевич. Они обнялись, два друга, озарённые священным знанием. Избранники небес, которые вернут русским небо.

Они покидали метеорит. Петру Дмитриевичу казалось, что железная глыба стала прозрачной, и в её глубине раскрылся цветок.

Когда они шли мимо витрин с минералами, в зале появился благообразный человек в очках с аккуратной лысиной. Два служителя несли за ним ломоть лазурита, синева которого сравнима с синевой на рублёвской “Троице”.

— Вот, Фаддей Аристархович, новый экспонат. Прямо из Афганистана. Каким именем его наречёте?

— Пушкин, — ответил Фаддей.

Пётр Дмитриевич не нашёл бы иного имени для этого сгустка небесной лазури.

(Окончание следует)